

**В**оенные  
**П**риключения

# ОДИН НА ДОРОГЕ

**ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ**



Владимир Михайлов

**Один на дороге**

«Автор»

1987

**Михайлов В. Д.**

Один на дороге / В. Д. Михайлов — «Автор», 1987

В романе повествуется о людях редкой и опасной профессии – кадровых саперах высокой квалификации, – которым из мирного времени приходится «возвращаться» в дни последней войны и вести бой с фашистским минером, непревзойденным мастером своего страшного дела.

© Михайлов В. Д., 1987

© Автор, 1987

# Содержание

Глава первая	5
I	5
II	11
III	14
IV	16
V	19
VI	20
VII	27
VIII	30
Глава вторая	33
I	33
II	37
III	39
IV	44
Конец ознакомительного фрагмента.	46

# Владимир МИХАЙЛОВ

## ОДИН НА ДОРОГЕ

*Выхожу один я на дорогу...*  
*Лермонтов*

### Глава первая

#### I

Я насторожился. Мелодия казалась знакомой, но трудно было назвать ее, даже просто определить, оркестр это, голоса, либо все вместе, – фантазия на темы мировой музыки всех времен, не более и не менее. Она звучала отовсюду и ниоткуда, была реальной – и неошутимой, как радиоволны. Ее хотелось слушать без конца. Но вслушиваться – я знал – было опасно.

Это пела тишина. В темноте слух обостряется порой до такой степени, что исчезает грань между реальным и воображаемым, и та гармония или, наоборот, диссонанс звуков, что существуют в тебе, вдруг начинают восприниматься как сущие и звучащие отдельно, прилетевшие извне. Напряженный слух фантазирует; он создает собственную модель мира, пусть и не совпадающую о истинной (впрочем, кто постиг истину?), но в этот момент убеждающую тебя. Если бетонная труба двух с половиной метров в поперечнике и скольких-то десятков или сотен шагов длиной не заключает в себе ничего, кроме мрака, безмолвствия и тяжелого, холодного воздуха, слух невольно населяет ее призраками звуков, и если принять их всерьез, натянутые нервы могут не выдержать.

– Майор, – сказал Лидумс своим категорическим басом, сразу заполнившим трубу так, что в ней не осталось места для слуховых галлюцинаций; на миг вспыхнул его фонарик. – Майор, да не суетитесь вы, пожалуйста, не лезьте поперед батьки в пекло. У вас хватало времени порезвиться тут до нашего прибытия.

– Мы все тщательно проверили, товарищ полковник, – отозвался майор, оставив в голосе ровно столько обиды, чтобы о ней можно было догадаться. – Хотя и без света.

– Поэтому я и шагаю спокойно; а если вы чего-то недоглядели – не играет роли, кто наткнется на сюрприз первым.

Не знаю, что подумал при этих словах майор, но я представил себе те двадцать с лишним метров, что отделяли туннель – и нас в нем – от поверхности земли, и на миг посочувствовал шахтерам. Правда, крепление здесь было куда надежнее, – насколько позволял различить блеклый свет карманных фонариков, что мы включали время от времени, бетонный монолит без единого шва, – но в шахтах люди могут хотя бы не опасаться фугасных зарядов, способных в доли секунды раздробить бетон в крупу и позволить лежавшей поверх толще превратить нас в ископаемые. Никто, правда, точно не знал, есть ли здесь такие заряды. Но очень похоже, что без них не обошлось.

Еще десяток-другой шагов мы прошли молча. Майор больше не пытался выскочить вперед. Двигались медленно, через каждые несколько секунд светя под ноги, осторожно ставя ступню на носок. Проверка проверкой, только что могли тут сделать саперы? Толку от миноискателей было немного: скрытая в бетоне арматура на всем протяжении туннеля давала ровный и мощный фон, а заряды (если они здесь были) скорее всего закладывались в деревянных ящиках или просто вмуровывались в стены, пол, потолок – куда угодно. Меня пока утешало то, что на стенах не виднелось никаких заплат, рисунок на поверхности бетона точно повторял

структуру давно снятых досок опалубки и нигде, кажется, не был нарушен. Но если верить тому, что говорил майор перед спуском, главное лежало впереди.

– Создается впечатление, что мы идем в гору, – произнес Лидумс таким тоном, словно совершил открытие первостепенной важности.

– Небольшой уклон есть, – подтвердил майор. – Скорее всего, чтобы скатывалась вода. Там, где мы спускались, под шахтой лифта, есть сток – туда она, я думаю, уходила.

– Вот, кстати, – сказал Лидумс заинтересованно. – Где же вода? Здесь ее не больше, чем в финской бане.

Воды действительно не было; и это – в подземелье, на глубине, достаточной для того, чтобы все здесь было залито раз и навсегда, как было затоплено еще и сегодня множество подвалов под развалинами разбитых в далекие военные годы домов этого города, стоявшего на плотном песке низменной приморской страны; города, где уровень грунтовых вод лишь немного не достигал поверхности. Здесь было суше, чем в подводной лодке, исправной и готовой к бою, ушедшей на погружение перед выходом в атаку.

– Это нас и заинтересовало, когда обнаружили шахту, – сказал майор. – Везде вода и вода, а тут вдруг сухо.

– Ну и слава богу, – проворчал Лидумс. – Не то пришлось бы нам пробираться в скафандрах. Это было бы очень смешно.

Мы шли, напрягая мускулы ног; с непривычки стали ныть икры. Туннель, не меняясь, уползал все дальше, шар тусклого света, который мы временами бросали перед собой, катился, не встречая препятствий. Круглое сечение трубы нарушалось лишь плоскостью пола и чуть выступавшими из потолка через каждые несколько метров плафонами. Ни один не был разбит, и если найти выключатель, они, возможно, загорелись бы; правда, тока здесь наверняка не было – подземелье, надо полагать, получало энергию сверху, из четырехэтажного дома, разбитого снарядом или бомбой, скорее всего, в сорок пятом; рухнув, дом надежно укрыл вход в шахту. Больше тридцати лет развалины никто не тревожил. Но теперь строительство началось и здесь, в удаленном от центра районе, развалины разгребли, обнаружили шахту, осмотрели, засомневались – и в результате мы с Лидумсом оказались тут. Итак, ток поступал сверху. Но мог здесь быть и свой, независимый кабель, и я сделал мысленную зарубку: поинтересоваться, использовалось ли в городе, полностью или частично, старое кабельное хозяйство, или вся сеть была проложена заново. Если верным окажется первый вариант, то подземелье могло и сегодня питаться током от старой сети и установить это извне было нельзя: с сорок пятого года тут не включалось ни единой лампочки, не расходовалось ни ватта. Если же сеть новая, тока здесь быть не может, а значит – не надо опасаться электрических взрывных устройств. Мелочь, но приятно.

Лидумс вдруг остановился; я едва не налетел на него. Туннель здесь расширился, образуя справа и слева две ниши сантиметров по шестьдесят в глубину, около метра в длину. В той, что справа, однообразие стены было чем-то нарушено. Я приблизил фонарик. Два коротких проводка торчали из стены, концы были обнажены, обрывки пересохшей изолянты валялись здесь же, на полу. Лидумс поднял один, потер между пальцами.

– Ваша работа? – спросил он майора. – Не утерпели, обнажили провода? Наверное, вы часто ловитесь на мизере и любите прикупать к семнадцати.

– Проверяли, есть ли напряжение, – сказал майор. – Не оказалось.

– Я вам очень благодарен, – сказал Лидумс. – А если бы при этой вашей проверке что-нибудь грохнуло? Или вы уверены, что если здесь есть ловушки, то обязательно хитрые? Не сказано, вовсе не сказано, я так об этом понимаю. – То была одна из многих любимых его присказок. – Да и провод телефонный, разве не видно?

– Мы же без света работали, – сказал майор.

– И все же углядели? Молодцы.

– Снято аккуратно, – сказал майор. – И заизолировано.

– Не спешили, – откликнулся Лидумс.

Они не спешили. Это не очень утешало: значит, у них было достаточно времени, чтобы придумать и установить множество всяких пакостей.

– Зато у нас времени немного, – сказал я. – Здесь долго не продышишь.

– Кстати, о воздухе, – проговорил Лидумс. – Собачек вы сюда не спускали? На предмет установления взрывчатки.

– Первым делом, – сказал майор. – Собаки не взяли ничего.

– Ага, – буркнул Лидумс. – Я так и думал. Ну, пошли дальше.

Так же глохли шаги, резиновые сапоги чуть повизгивали. Наконец очередная вспышка света сплюснулась, упершись в замыкавшую туннель стену.

– Рискнем посветить как следует, – решил Лидумс. – Тушитель на товсь. Мало ли – какая-нибудь зажигалочка...

Дальше хода не было. Дальше лежал неизвестный мир, закрытый для нас наглухо при помощи двустворчатых металлических, даже на вид массивных ворот, чьи створки были точно подогнаны одна к другой, а между ними виднелась тоненькая серая полоска герметизирующей прокладки. Две узкие скважины для ключей, одна над другой; два маховичка. Как в банковском подземелье, где хранят золотой запас.

– И прочие активы государственного банка, – усмехнулся Лидумс. – Хорошо бы, конечно. Однако, вряд ли.

– Банк находился далеко отсюда? – спросил я.

– Тогда? – не сразу понял майор. – Не знаю. Кажется, далеко. В центре. Прикажете выяснить?

– Да нет, – сказал Лидумс. – Не надо. Пока не будем делать выводов и предположений. Пока будем запоминать. – Он взглянул в ворота. – Светите в стороны, – попросил он. – Не нужно прямых лучей. – Он приблизил лицо к металлу, как бы принюхиваясь, словно, как и специально тренированные собаки, умел обнаруживать взрывчатку по запаху. Потом поскреб плиту ногтем и, не оборачиваясь, спросил: – Когда минеры проверяли, не пытались открыть ворота?

– Нет.

– Похвально, – сказал Лидумс. – И разумно. Главное – разумно. И сейчас тоже не будем. – Он отступил на шаг и повернулся ко мне. – Посмотри ты, может, что-нибудь заметишь. Сокрытое от взоров.

Я приблизился к воротам и остановился в полуметре, направляя свет фонарика в потолок. Прямой луч, отражаясь от блестящей, ничуть не потускневшей за три с половиной десятилетия стали, просто слепил бы, не позволяя ничего разглядеть. Но и так разглядывать было, в общем, нечего. Гладкая, словно полированная, поверхность; заслонки, которым следовало прикрывать скважины – открыты, словно приглашают попробовать отмычку. Если это ловушка, то для детей. Поводя головой, я принялся сканировать поверхность взглядом. Ничего. Или все же?.. Рука с фонариком, сама дернулась на помощь. Лидумс предостерегающе кашлянул, но я уже увидел.

Шесть маленьких, миллиметра по два в диаметре, отверстий, расположенных правильным шестиугольником на высоте метра с небольшим от пола; весь шестиугольник в поперечнике – сантиметра полтора. Я напряг зрение. Тонкая, как волос, линия окружала все шесть отверстий. Я присел. Вытащил из кармана спички. Засунул одну в отверстие – осторожным, легким движением, чтобы ощутить малейшую заминку. Спичка остановилась, углубившись миллиметров на пять. Остальные отверстия дали тот же результат. Нажать покрепче я не рискнул. Мало ли что могло там оказаться: взведенная пружинка, например...

– Похоже, что это заглушка или болт, – сказал я. – Под специальный ключ с шестью шпёнками.

– Ага, – сказал Лидумс. – Станешь его выкручивать – а с той стороны к нему прикреплен тросик. Натянется, вытащит чеку – и музыка заиграет. Хотя с другой стороны – зачем его тогда так маскировать? Наоборот... Ладно, подумаем, пораскинем мозгами.

Не поднимаясь с корточек, я снова осмотрелся. Лидумс тем временем пошарил лучом по потолку.

– Еще что-то, – сказал он.

Мы посмотрели туда. Наверху из бетона торчали четыре коротких, толстых – миллиметров двадцать в диаметре – стержня с винтовой нарезкой. Длиной они были сантиметров по десяти и располагались квадратом, примерно в сорока сантиметрах друг от друга.

– И вот еще кое-что, – сказал я. – Товарищ майор, это не могли оставить ваши саперы?

– А что там? – поинтересовался Лидумс.

– Мы ничего не оставляли, – четко произнес майор.

– Не пойму, что, – сказал я, вглядываясь в угол, где поперечная стена смыкалась с туннелем. – Думаю, это не имеет отношения к делу.

– Такого не бывает, – не согласился Лидумс. – Покажи...

Я потеснился, и он присел на корточки рядом. Теперь мы в два фонарика освещали блестящую пластинку на шершавом бетоне. Величиной примерно четыре сантиметра на шесть, она была расположена на той же высоте, что и пробка с шестью отверстиями. Зеркальце? Металлическая бляшка? Я почти уперся в нее носом, избегая малейшего прикосновения. Да, зеркальце. Странной формы: как дворянский гербовый щит. Приклеено каким-то клеем или мастикой. Почти не выступает из стены... Я глянул на Лидумса. Он пожал плечами и повертел пальцем у виска. Мы распрямились, я потер занывшее колено. Майор нетерпеливо дышал позади: наверное, ему хотелось поскорее попасть на свежий воздух.

– Вы это видели?

– Нет, – сказал майор, – как же? Но нас это, я думаю, не касается. – Он чуть усмехнулся. – Когда минируют, в зеркало не глядятся. Наверное, это кто-то приделал, когда строил объект. Просто для смеха.

Лидумс глянул на него исподлобья, словно хотел сказать: много вы знаете о тех, кто это строил, как же!.. Но вслух произнес лишь:

– Ну что же, вряд ли мы увидим здесь что-нибудь еще. Общее впечатление у меня такое: сделано все солидно, не наспех, и выглядит очень спокойно и безмятежно. Даже слишком. Полагаю, что можно возвращаться.

Назад майор шел первым. Я старался поточнее зафиксировать в памяти все, что видел, это еще понадобится, и не раз. Но думать об этом почему-то не хотелось, да и запоминать было нечего. Хотелось то ли лечь и полежать, то ли посидеть где-нибудь, хорошо бы на травке или теплом сухом песочке, и ни над чем не размышлять, а просто пересыпать песок между пальцами...

Устал я, что ли? Ладно, придет время – будем думать, для того нас и держат. Что-то покалывает под сердцем. От воздуха: похоже, кислорода в нем совсем не осталось. Раньше в подземелье была, надо полагать, принудительная вентиляция, сейчас она, естественно, не работает. Хорошо, что основные магистрали, по которым ездят машины, пролегают далеко отсюда, и в туннеле не скопилось никакой окиси углерода. Хотя я не помнил как следует: может быть, продукты сгорания бензина как раз поднимаются вверх? Это не по моей специальности... Фонариков мы больше не выключали, световой шар катился перед нами. Сейчас придется одолеваять двадцать метров по штормтрапу. Лифт, некогда ходивший в шахте, по которой мы спустились сюда, давно исчез, как и все остальное, возвышавшееся раньше наверху. Кстати: если в стенах туннеля или за воротами заложен заряд, почему он не детонировал в сорок пятом, когда



все здесь летело вверх ногами? Может, его все же нет?.. Да, развалины пролежали тут долго. Но сейчас биография улицы возобновлялась, хотя и с другого рубежа. Рухнувший карточным домиком в сорок пятом, город восстанавливался не по старым схемам; здания стояли просторнее, возникли широкие проспекты и обширные площади, дышалось, наверное, куда привольнее, чем в былые времена. Впрочем, от тех дней здесь осталась только территория, река с каналом, очень немного уцелевших зданий в центре, и чуть больше – на окраинах. Новым было все: название, жители, язык, звучащий на улицах и в домах, где эти люди жили и работали. Но, кроме суши и воды, сохранилось, оказывается, и такое вот подземелье, в котором некогда помещалось нечто, не предназначавшееся для посторонних взглядов и потому укрытое на глубину двадцати метров. И – мысль отнюдь не праздная – возможно, обстоятельно и умело заминированное.

Наконец, мы добрались до места, освещенного падающим сверху слабым светом. Снизу высота не казалась такой грозной, какой выглядела глубина при взгляде с поверхности земли. Но все равно, двадцать метров – шестизэтажный дом, я же никогда не был альпинистом, и Лидумс, кстати, тоже. Майор ухватился за свисающую веревочную лестницу, наступил на нижнюю выбленку, натягивая.

– Подождите, майор, – остановил его Лидумс. – Мы не мальчики все же. Дайте отдышаться...

Майор снял ногу с едва уловимой заминкой. Просто удивительно, сколько существует способов выразить свое несогласие там, где его выражать никак не полагается. Но Лидумс не обратил на это ровно никакого внимания. Дело было не только в передышке. У нас с ним, когда мы еще служили вместе и совместно занимались такими вот делами, вошло в обычай делиться возникшими мыслями, и даже не мыслями, скорее, первыми впечатлениями тут же, на месте, пока впечатления эти не поблекли и не размылись под влиянием каких-то посторонних раздражителей. Известно, что первые впечатления нередко оказываются самыми правильными, особенно у людей с хорошо развитой интуицией, потому что первые впечатления и есть продукт интуиции, а не логики. Так что, едва дыхание наше пришло в норму (воздух на дне шахты был все же посвежее, чем в глубине туннеля), Лидумс спросил:

– Ну, как тебе все это?

– Загадочная картинка, – откровенно сказал я. – Пока мне ясно, что тут надо думать и думать.

– Необычно интересная мысль, – проворчал Лидумс. – Не забыть бы записать ее кончиком иглы в уголках глаза – в назидание поучающимся. А на более конкретное тебя не хватает?

Мы были старыми, очень старыми друзьями и порой позволяли себе такой стиль разговора; наедине, конечно, с глазу на глаз.

Я хотел было в ответ намекнуть ему, что папаху украшает не каждого, и что у него она явно ограничивает круг мыслей. Но майор стоял рядом, а в такой ситуации полковник мне не простил бы, и был бы прав.

– Чтобы делать не то что выводы, но хотя бы предположения, – заговорил я нарочито занудливым голосом плохого преподавателя, – мы должны знать, что располагалось за этими прекрасными воротами. А пока могу сообщить не для печати: если здесь заминировано, то достаточно хитро, раз уж нам ничего не бросилось в глаза. Поэтому я и говорю: надо думать и наводить справки.

– Если получится, – невесело проговорил он.

– Постараемся как-нибудь, – сказал я, уязвленный таким неверием в наши силы, мои и его.

– Я не о том. Времени у нас – не вагон.

– Почему это?

– Да видишь ли...

Майор переступил с ноги на ногу. Похоже, ему не терпелось.

– Ну все, прения окончены, – сказал Лидумс, глянул на меня, улыбнулся и хорошим командным голосом приказал:

– Подполковник Акимов – к снаряду!

Он имел в виду не снаряд, начиненный взрывчаткой; то была просто команда, какую подают на занятиях по физподготовке. Мы оба не забыли того давнего случая, но сегодня у меня не было настроения улыбаться воспоминаниям. Почему он ни с того ни с сего вспомнил эту историю? Не знаю; наверное, было сейчас во мне что-то такое, что заставило ее всплыть из глубин его памяти. Вроде бы никакой строптивости сегодня я как раз не проявил, и все же что-то было; хорошо бы понять, что именно: никогда не вредно знать, что думает о тебе в данный момент твой начальник, пусть и временный, пусть даже старый друг. Дружба дружбой, а служба службой – сказано давно и верно.

Одна из причин, во всяком случае, была мне ясна. Решение задачи, которая могла оказаться сложной, поручили не ему одному, но вызвали в помощь специалиста из другого округа – и специалистом этим оказался я. Когда-то мы служили вместе, он научил меня многому; служил он дольше моего и в чем-то успешнее – в звании, во всяком случае, я так и не настиг его. Но как узкий специалист, я котирировался, наверное, выше и, думается, не без оснований: все последние годы я занимался вопросами пиротехники в научном учреждении, знал не только теорию, но и современную практику этого дела, и не только у нас; к Лидумсу же такие вещи попадали лишь когда принимались на вооружение, то есть не сразу. Конечно, с одной стороны, современная практика была вроде и ни к чему, когда речь шла об истории тридцатипятилетней давности, Лидумс прекрасно понимал это, и потому-то мое присутствие его, вероятно, обижало; с другой же стороны я, как специалист, действительно находился сегодня в лучшей, чем он, форме – и это его тоже не радовало. Зная его характер, я понимал, что ревность эта пройдет, полковник с нею справится, но понимал я и то, что справится он с нею не сразу, и поэтому надо быть внимательнее и щадить его самолюбие.

Так что сейчас я послушно ухватился за выбленку и полез. Ладно, пусть Сулейманыч (так мы его звали в молодости, потому что нордическое имя его отца не всегда ложилось на язык) – пусть Сулейманыч вспоминает, если ему охота...

## II

То был первый месяц срочной службы рядового Акимова, пора карантина, курс молодого солдата – период родовых схваток, в которых появляется на свет военный человек. Бывает, роды проходят легко, без осложнений и даже без больших болей – но, случается, младенец идет ножками вперед, и все сразу затрудняется; он хочет на свет (хотя ныне и существует гипотеза, что младенец родиться не хочет, и очутившись в этом мире, горько плачет от сожаления и ужаса; однако гипотез много, а истина одна, и чаще всего она лежит где-то над ними), – итак, он хочет, но неправильное положение мешает ему, мучается он сам, мучается роженица, и тем, кто помогает при родах, тоже приходится нелегко. Наверное, военный человек в Акимове тоже рождался из неправильного положения, и было это болезненно... Произошел тот случай на физдо (так сокращенно именовалась среди солдат физподготовка). На физгородке было много незамысловатых турников: врытые в землю два столба и перекладина из дюймовой водопроводной трубы, отшлифованная до полной гладкости шершавыми ладонями военнослужащих срочной службы; таким же способом были сооружены и параллельные брусья, а с толстой балки, соединившей поверху два высоких столба, свисали кольца, канаты и шесты. В тот день предстояло освоить канат. Солдаты занимаются физподготовкой не в гимнастических трико; ремни и пилотки лежат на земле, сохраняя место их владельцев в строю, две пуговицы воротничка растегнуты, все остальное – по форме. По команде сержанта каждый должен был (занятия шли на скорость) бегом приблизиться к канату, взобраться по нему, дотронуться до поперечного бревна – не просто дотронуться, но лихо хлопнуть по нему ладонью, – соскользнуть вниз, пробежать к «кобыле» (так непочтительно именовался благородный гимнастический конь), перепрыгнуть, и рысью – обратно в строй. И все шло нормально, пока очередь не дошла до рядового Акимова.

Ему все это пришлось сильно не по душе. В тот день служба активно не нравилась ему с самого подъема. Такие дни бывают у каждого; теперь принято истолковывать их по-научному, как дни совпадения нулевых фаз трех ритмов человеческой жизни: физического, интеллектуального и эмоционального; так это или не так – кто знает, однако принято считать, что при таких совпадениях человеку лучше воздерживаться от активных действий, потому что скорее всего все пойдет наперекос и хорошо еще, если обойдется без серьезных последствий. Но даже теперь ваш начальник цеха или командир роты не станет считаться с этим; а в те времена о ритмах ни у кого и представления не было, у Акимова тоже. Он просто чувствовал тогда, что вся жизнь ни к черту не годится и по многим причинам в отдельности, и по всем ним, вместе взятым. Армия приучает человека ощущать реальную ценность собственной личности, таких понятий, как дисциплина и долг. Но к этому человек приходит не сразу, и далеко не сразу исключает из своего лексикона, даже мысленного, слова «настроение» или «расположение духа». А может, дело еще и в том, что, начиная служить в армии, о героизме которой за многие годы было и еще наверняка будет сказано 'немало, человек (в первую очередь – с романтическим складом характера) ищет способ как можно скорее продемонстрировать те запасы героического, которые, конечно же, таятся в нем. Не сразу, далеко не сразу начинает он понимать, что высший героизм, быть может, заключается в том, чтобы приказы не обсуждать, а выполнять – беспрекословно, точно и в срок, как сказано в уставе. Так или иначе, в лазаний по канату Акимов не усмотрел в тот день ничего героического, и когда «К снаряду!»скомандовали ему, он, вместо того, чтобы пуститься бегом, позволил себе не согласиться с сержантом Лидумсом в такой форме:

– Да ладно выпендриваться...

Рот сержанта в первое мгновение изобразил букву "о"; глаза, большие и круглые, что в обычной обстановке замечалось не сразу, засветились, как доведенный до белого каления металл.

– Что-о-о? – протянул он, и хотя по форме это был вопрос, в интонации явственно слышалась угроза. Акимов повторил сказанное и еще прибавил:

– Не полезу, и точка. Подумаешь...

Он никогда не думал, что у Лидумса может оказаться такой голос; рядовой служил еще слишком мало, и к тому же разница возрастов, пролегла между ними, означала не одно лишь биологическое сержанта, так же, как три лычки на его погонах означали не только старшинство уставное; Лидумс воевал, а рядовой – нет; а те, кто хлебнут войны, понимают службу если не до самого конца (а кто понимает ее до конца?), то, во всяком случае, куда глубже новобранцев – так что для сержантов той поры, прослуживших в армии без малого десятков лет, в том числе четыре военных года, справиться с таким завихрением было делом пустячным. И вот сержант Лидумс тем голосом, какого у него доселе никто и не слышал, и каким (подумалось Акимову позже) он поднимал свое отделение в атаку, скомандовал:

– Рядовой Акимов – смирно!

Рядовой колебался долю секунды; за это время он успел бросить взгляд на весь взвод, состоявший из таких же, как он, зеленых новобранцев, салаг – на полковом жаргоне. Ни в одном взгляде он не встретил признания или одобрения; никто не собирался поддержать его; солдаты (образование четыре класса даже у тех, у кого и ни одного класса не было: меньше четырех классов военкоматы в те дни никому принципиально не писали, потому что четырех-классному образованию быть полагалось; гражданская специальность – чаще всего сапожник, потому что призванные из колхозов парни как-то стеснялись, отвечая на этот вопрос, говорить писарю «колхозник» и предпочитали заявлять «сапожник», поскольку кое-как привести в порядок свою немудреную деревенскую обувь каждый из них умел, а среди призывников ходили слухи, что сапожникам служить легче, меньше приходится топтать в строю. В службе же они, успевшие уже пройти практическое воспитание жизнью, искали не романтических ощущений, а возможности скоротать положенные годы с минимальными для себя осложнениями. Даже не проникнувшись еще мудростью уставов и знанием службы, они уже прекрасно знали, что идти на открытый конфликт с начальством – себе дороже, что лучше не пререкаться и делать как можно меньше, чем поднимать голос и в результате сделать даже больше, чем предполагалось первоначально; с ними тоже приходилось повозиться, прежде чем они становились солдатами не только по форме, но и по содержанию, однако это уже другой разговор) – так вот, солдаты эти смотрели на Акимова, как на любопытное, но не очень привлекательное явление природы. Сержант, напрягшись, стоял перед рядовым; и этой доли секунды хватило Акимову, чтобы понять: не Лидумс, а бита. Армия стояла перед ним, стиснув на мгновение зубы, – Армия, с которой он не только не мог, но и не хотел, не собирался спорить... Руки его сами собой легли по швам, грудь выкатилась и он застыл в строевой стойке.

– Ложись! Встать! Ложись! Встать!

Нет, героического выступления не получилось. Рядовой Акимов вскакивал и по команде падал на землю вновь.

– К снаряду, бегом – марш!

Он побежал к канату. Уши горели. Было стыдно. Не того, что он так быстро сдался и побежал. Стыдно было, что он пытался воспротивиться.

О случившемся сержант Лидумс после занятий доложил, как положено, командиру роты, поскольку взводный был в тот день дежурным по части. Капитан Малыгин, наверное, должен был наказать рядового. Он не сделал этого. Капитан Малыгин понимал людей, и уже раньше успел заметить, что Акимов – из тех, кто строже всего карает сам себя, пусть и не всегда тут же на месте происшествия. Командир роты знал, что наказание полезно не во всех случаях,

и что кроме взысканий, перечисленных в Дисциплинарном уставе, существует еще множество других мер воспитания. В наказании всегда содержится искупление: ты поступил неверно, тебя наказали – значит, вина искуплена, можно забыть о ней, вычеркнуть из жизни. Эта все та же старая схема: согрешил – покайся – спасся, можно грешить снова. В забвении таится возможность рецидива; капитан же не желал, чтобы Акимов забывал, он хотел, чтобы стыд за поступок остался у рядового на все время службы, а может быть, и на всю жизнь; Малыгин, кстати, уже тогда не исключал возможности, что оба эти срока совпадут – не потому, что жизнь окажется короткой, но потому что служба может выйти долгой. Он знал, что из таких вот, романтически настроенных, выходят потом хорошие командиры, надо только, чтобы романтика и проза службы, по первому впечатлению так противоречащие друг другу, сплелись воедино до той степени, когда в простом «Слушаюсь!» звучит энтузиазм самоотречения и самопожертвования. Так или иначе, маленький, кривоногий и плосколицый философ я психолог службы гвардии капитан Малыгин своего добился: стыд остался в Акимове если и не на всю жизнь – она еще не кончилась, подводить итоги было как будто рановато, – то, во всяком случае, по сей день.

И, может быть, как раз сегодня Лидумс вспомнил это не без оснований.

### III

Мгновенный срез во времени. В одну и ту же секунду.

Генерал, командир дислоцированного в городе соединения, он же начальник гарнизона, расхаживает по кабинету. Он поглядывает на часы, пожалуй, чуть чаще, чем полагалось бы человеку, уверенному в том, что все идет как надо. Он не очень молод для своих звания и должности; соединение ему дали, когда он в глубине души на это почти и не надеялся, и искренне жалел – не потому, что быть генералом куда почетней, чем полковником, но потому, что чувствовал в себе силы и, что еще важнее, – умение командовать именно на таком уровне, и командовать хорошо, чтобы везде был настоящий армейский порядок. Он знал службу во многих ее разрезах и, полагавший, что больших неожиданностей для него быть уже не может, он сейчас волнуется несколько больше, чем следовало бы и чем сам он признается себе: в минном деле, в пиротехнике он не специалист...

Первый секретарь горкома, тоже в своем кабинете, стоит у окна. Он только что положил трубку прямого междугородного телефона. Разговор, кажется, прибавил ему забот; секретарь хмурится и, раздумывая, постукивает пальцами по стеклу...

Очень немолодая, но очень прямо держащаяся женщина, одна-одинешенька в небольшом особнячке на окраине, включает телевизор. Пока аппарат греется, она подходит к стене и глядит на висящий на уровне ее глаз портрет молодой женщины, портрет не совсем профессиональный, но написанный явно человеком способным. Женщина на портрете обладает определенным сходством с хозяйкой особняка: дочь? или она сама много лет назад? Есть в этом портрете, если присмотреться, одна странность. Он не очень велик, сорок на шестьдесят, примерно, но при этом один угол его, правый нижний, использован для неожиданной цели: там, где художник ставит обычно свою подпись, на портрете наклеено зеркальце необычной формы: оно напоминает дворянский гербовый щит. А подписи нет. Женщина, нечаянно глянув в зеркальце, машинально поправляет прядь волос, все еще густых, и поворачивается к посветлевшему уже экрану...

В четырехстах километрах к северо-востоку, в другом городе, другая женщина, куда моложе первой (более чем вдвое), в больничной пижаме и халате, не очень уверенно идет по длинному коридору, в который выходят двери палат. Подходит к столику дежурной сестры недалеко от выхода в холл, пронизанный по вертикали шахтой лифтов.

– Он не сказал – когда?..

– Ну, теперь уже скоро, милая, – отвечает сестра с профессиональным доброжелательством. – Если не завтра, то послезавтра. Соскучилась по дому?

Выздоровливающая отвечает неожиданно:

– Наверное... Не знаю...

В том же городе пожилой человек, под штатским пиджачком которого угадывается неис требимая выправка, листает календарь.

– Теперь до ноября военных праздников не будет, – говорит он громко и грустно. – И не зайдет никто...

– У тебя и так все праздники – военные, – откликается женский голос из соседней комнаты.

– Много ты понимаешь... – с досадой говорит отставник.

Он включает стоящий на столике проигрыватель, опускает иглу. И когда звучит «Майскими, короткими ночами», садится на узкий диванчик рядом и глядит куда-то далеко – за окно, за стены соседних высоких домов, за облака, за горизонт, – глядит в былое...

Еще на тысячу километров восточнее сухонькая старушка сидит на лавочке подле зарослей малинника на обширном – теперь таких не дают – участке подмосковной дачи, недалеко

от домика, которому лет пятьдесят, и по сравнению с нынешними виллами он выглядит бедно. Старая женщина пишет, пристроив большой блокнот на коленях. Несколько книг по истории на русском, немецком, английском, топорщась закладками, лежат на скамейке рядом...

А тысячи на две километров западнее этой дачи, по аккуратной, чистой улице большого города едет человек в не новом, но ухоженном «трабанте». Он едет внимательно и дисциплинированно, как, впрочем, и остальные водители вокруг; на лице – спокойствие и удовлетворение жизнью, он бессознательно мурлычет под нос, автоматически переключая скорости: «Майн шатц, майн шатц – матроз-ин-зее...» Мало кто теперь помнит эту песенку, когда-то служившую гимном эскадры тральщиков на Остзее – до самого мая сорок пятого года; да и сам ездок вряд ли вспомнит ее по заказу, а тут вот она как-то вынырнула на короткое время из памяти, и он напевает...

А в городе, в котором происходит пока действие, в двухместном номере гостиницы человек с трубкой в зубах порывисто встает со стула, на котором сидел перед пишущей машинкой, и делает несколько шагов по комнате.

– Мало, – говорит он. – Все не то. – Трубка во рту почти не мешает ему говорить: привычка... – Мне надо отыскать хотя бы одного живого человека... Только убей, не знаю как.

Молодая женщина, завершающая перед зеркалом сложную подготовку к выходу на люди (любой живописец пришел бы в отчаяние, если бы ему каждый день приходилось начинать и завершать одну и ту же картину, пусть – шедевр, он не выдержал бы, а вот женщины как-то мирятся), успокаивающе говорит:

– Найдем. Если не ты, то я.

– Н-да? Каким же это образом?

– Каждого, кто будет со мной заговаривать, я стану спрашивать об этом. Собирайся, пойдем обедать.

– Как будто в этом городе можно пообедать, – саркастически говорит человек с трубкой, но все же закрывает машинку чехлом.

– Попробуем просто спуститься в ресторан.

– И там все опять будут принимать тебя за мою дочь?

– Это неважно, – говорит она. – Все равно я тебя люблю...

Вот так живут в один момент времени разные люди. Связь между ними пока не ясна. Ее просто нет, этой связи. Но это – неподвижный срез. Время идет, и связь возникает.

## IV

Итак, Лидумс улыбнулся, а я – нет. Хотя посмеяться над своей былой глупостью иногда бывает даже приятно: так подчеркивается пройденное с тех пор расстояние и хотя бы косвенно напоминает о своих нынешних достоинствах. Но даже думать о собственных добродетелях, настоящих или воображаемых, мне не хотелось; вообще я не желал думать о себе: самоанализ, по-моему – занятие для пенсионеров. А главное, мне как-то ни о чем сейчас не думалось.

Мы выбрались на поверхность без особой лихости: возраст берет свое, хочешь ты с ним считаться или нет. Кое-как отряхнули комбинезоны, пожмурились от света; после подвального мрака день казался ярким, хотя на дворе стояли сумерки и нудно моросило. Привезшая нас машина, почему-то крытый УАЗ медслужбы, ожидала поодаль, за уже выставленным оцеплением. По соседству с развалинами, на выровненной площадке, стояло несколько бульдозеров с как-то растерянными задранными ножами, поодаль понуро склонили шею два экскаватора, еще поодаль виднелась пара вагончиков на колесах, лежала куча теса – наверное, для времянок. Строительство, видимо, затевалось нешуточное, и я почти понял, что имел в виду полковник, предупреждая, что времени у нас будет не так-то уж много. Однако согласиться с этим я не мог. И почувствовал, как поднимается во мне раздражение. Даже порадовался ему: сильных эмоций я не переживал уже давненько. Для раздражения были причины. К своей работе я всегда относился очень серьезно. Это не бирюльки. Мы рискуем жизнью – своей и (порой) подчиненных, подчиненных и – порой – своей. И экономить время на нашем деле способны разве что слабоумные.

Так я и сказал Лидумсу, как только мы уселись в кузове, майор утвердился рядом с шофером, и мы тронулись. Полковник улыбнулся мне самой обаятельной из своих улыбок.

– Дай я введу тебя в курс, – предложил он. – Ты еще не все понял. Стройка не городская, не областная – она на контроле в Москве. Государственного значения. Так что, как ты сам разумеешь, Москва будет жать на область, область – на город, а на кого останется жать городу, если не на нас?

– Не очень-то. Мы не город и не область, мы – армия.

– Светлый ум! – удивился Лидумс. – Это ты точно уловил, масенька: городу мы не подчинены. И даже области. Но нарисуй себе такую картинку. На строителях и так висит множество грехов, они просто не успевают оправдываться. Да что говорить, газеты ты хоть изредка, надо полагать, читаешь, не одни же диссертации коллег... А тут возникает ситуация, когда они хотят, даже больше – когда они готовы работать, а им не дают. Кто? Мы. В нашем деле они не разбираются, да и не желают. Они напишут слезницу в горком. Горком обратится в обком, если понадобится, то есть, если сам не сможет придать нам требуемое ускорение. Армия, конечно, сила, но ведь и они собираются строить не пивной бар... Поэтому их примут, выслушают и постараются помочь на любом уровне, особенно когда поймут, что помощь не касается рабочей силы, фондовых материалов и отношений с поставщиками, а просят они всего лишь возможности начать работу. Значит, на помощь к ним с удовольствием придет всякий, к кому они обратятся. Конечно, никто не станет навязывать нам готовых выводов; но секретарь горкома обратится в обком, первый секретарь обкома – к командующему округом, а они оба – члены ЦК и, следовательно, наш командующий – не только военачальник, но и политический деятель, – и отмахнуться от этого вопроса, сказав: «Моим офицерам виднее», не сможет. Он вызовет нас и даст срок, скорее маленький, чем большой, а мы люди военные, и спорить с командующим нам не положено, да и смысла не имеет... И мы, составившие развернутые, на много дней рассчитанные диспозиции по принципу «Эрсте колонне марширт...», сами того, может быть, не ощущая, начнем невольно ломать свои же графики, где-то чего-то не додумывать, чего-то не учитывать, в результате нам покажется, что решение есть, поскольку мы что-то поняли, хотя



на самом деле решения у нас еще не будет, потому что свои догадки не успеем всесторонне испытать и на сжатие, и на излом, и на разрыв – и начнем действовать, а это может оказаться смерти подобно не в переносном, но в самом буквальном смысле слова. Так что лучше не идти на обострение и с самого начала просить времени столько, чтобы не восстановить против себя всех. Армия-то мы армия, но, как говорится, армия и народ едины. Согласен? Такая уж селяви, любезный мой подполковник.

– Не пойму: что же ты предлагаешь конкретно?

– Да обойтись самым простым способом: уничтожить все на месте.

– Подорвать?

– Слушай, а почему бы и нет? – сказал он, воодушевляясь. – Минимум затрат – и времени, и работы. Заложить у ворот заряд и рвануть. Выигрыш в любом случае. Сам подумай: если там действительно заминировано, то подземелье, конечно, обрушится – тем лучше для строителей: не придется рыть котлован, и грунт мы им так уплотним – лучше не надо. Поблизости нет вроде бы ничего такого, что могло бы пострадать. А? Что молчишь? Думаешь?

Ничего я не думал. Мне было просто досадно. Узкие специалисты – а к таким принадлежу я – обычно хорошо знают своих товарищей по профессии, достигших такого же или еще более высокого уровня мастерства; знают, если даже никогда не служили вместе. Существуют задачи, для решения которых достаточно выделить взвод пиротехников под командой лейтенанта, и задачи, которые можно доверить единицам из специалистов Вооруженных сил. То, что к этому делу привлекли Лидумса, было естественно: он служил в этом округе, тут было его хозяйство. Но какого черта понадобилось вызывать меня, оторвав от работы в лаборатории, от (как предполагалось) свежих листов диссертации, если речь идет всего лишь об уничтожении на месте? Задача не сложнее кроссворда из «Огонька»...

– Не знаю, – сказал я наконец. – Мне не нравится.

– Ну, конечно. Слишком просто, да? Ниже нашего ученого достоинства? Так, что ли?

– Нет. Просто не люблю принимать решения без достаточных данных. Не люблю спешить. А ты торопишься. Словно на тебе уже сидят и строители, и власти, и все на свете.

– Слушай! – сказал он. – Так ведь строить-то надо! Это я и без них понимаю. Тебе, конечно, легче, – ты человек пришлый...

– Из Америки, что ли? – сердито спросил я.

– Ладно, извини. Что же, тогда давай доложим оба, как каждый из нас понимает это дело. Генерал, насколько я понимаю, нас ждет. А потом сходим под заправимся. Какова она ни на есть, жизнь, а принимать пищу время от времени нужно. Хозяева, может быть, и оставили на нас в столовке расход, но, честно говоря, хочется чего-нибудь такого – не табельного. Так что приглашаю в ресторан.

– Согласен, – сказал я решительно. – Сменим обстановку, а то мы сегодня все время в стенах, то в одних, то в других.

– Ну, стен нам и сейчас не миновать, – усмехнулся он и усы его выразительно встопорщились.

– Ну, там хоть будет попросторней.

– И людно.

– И накурено. И шумно. И пестро.

– И много женщин, – сказал он.

– И все с мужчинами, – сказал я.

– Ну, – он развернул плечи, – что мы, не отобьем, что ли? Такие молодцы!

– Гвардия! – сказал я.

– Но отбивать мы не станем, – предупредил он.

– Они нам ни к чему, – согласился я.

– Просто посидим и поговорим.

– Ты все еще не танцуешь?.. Дьявол! – Нас сильно потрянуло, мы ухватились за скамейки, чтобы не оказаться на полу. – Нет, он нас живыми не довезет... Так что же насчет танцев?

– Только под градусом, – сказал я. – А градусы у меня все в прошлом. А ты?

– Танцую. Но редко. Если женщина очень нравится и хочет того. Ну, раз нам все ясно, мешкать не станем... – Машина замедлила ход, завернула, остановилась. – Шагом марш – на доклад.

– С песней, – сказал я.

– Это еще не тот доклад, – предупредил Лидумс, – это предварительный. Так что не вибрируй от страха. Вот когда в курсе твоих мыслей окажется все начальство, и окружное, и здешнее гражданское – тогда воистину начнется «смешались в кучу кони, люди». Ну, вперед.

– Вперед, – согласился я, понемногу при помощи таких вот необязательных слов выжимая из себя усталость. – Только вперед, до самого конца.

## V

В штабе было тепло, и очень кстати: после промозглости подземелья по телу нет-нет да и пробежал озноб. Мы прибыли к начальнику гарнизона, как были – в комбинезонах, майор позволил нам только обмахнуть сапоги. О нас доложили, и Лидумс вошел первым; меня пригласили только минут через пять, на что я нимало не обиделся: генерал хотел сперва услышать того, кто был в более близких служебных отношениях с ним. Я бы и сам так сделал на его месте.

Войдя, я увидел на лице начальника гарнизона выражение сдержанного недовольства. Может быть, он полагал, что именно так следует встречать младших в звании, потому что – кто перед богом не грешен, царем не виноват? – но не исключено, что он заподозрил нас, а в первую очередь меня, в желании перестраховаться. Наверное, в какой-то степени оно так и было. Но рисковать можно, играя десять втемную: ну, проиграешь пятеркой больше, не смертельно... Однако после того, как я представился, генерал заговорил дружелюбно:

– Полковник Лидумс считает, что объект целесообразнее всего уничтожить на месте. Вы тоже так полагаете?

– С оговорками, товарищ генерал, – сказал я. Он слегка нахмурился:

– Я вас слушаю.

– Мы пока еще не знаем, что находится в подземелье. Догадок может быть много, разгадка – лишь одна. И она может оказаться настолько не в нашу пользу, что уничтожать объект на месте получится чересчур опасно. Нам нужно хотя бы приблизительно знать, что и как там заложено – если что-то заложено вообще.

– Да, – сказал генерал, – полковник доложил мне. Но вы согласны с тем, что уничтожение на месте – самый быстрый способ ликвидировать ситуацию?

– Несомненно, – согласился я.

– И что, принципиальных, подчеркиваю: принципиальных возражений тут быть не может? Я чуть замешкался с ответом, и генерал добавил:

– При такой постановке вопроса вряд ли кто-нибудь получит повод для претензий. И мы решим все быстро и кардинально.

В конце концов, может быть, они и правы? Для меня время, которое потребуется для выяснения всех обстоятельств, – это лишь какое-то количество размышлений, запросов и ожиданий. Но для большинства – это деньги, планы, простои, неприятные разговоры...

– В таком случае, – продолжал генерал, – я сразу же дам команду, чтобы вам предоставили все, что потребуется для подготовки и осуществления взрыва.

– И все же, товарищ генерал, – я решил не отступать, – остается необходимость проверки, уточнения...

– Понимаю. Но полагаю, что эти действия можно вести параллельно.

Он был прав, конечно; и кроме того (он ничего не сказал об этом, но понять можно было и так) – на городское руководство произведет хорошее впечатление, что какие-то работы начнутся уже немедленно. Это и будет соответствовать представлению людей гражданских, что в войсках все делается немедленно. Словно бы в армии не надо думать, СЛОВНО бы любая ситуация у нас уже заранее предусмотрена, если не уставом, то во всяком случае изложена в одном из наставлений по соответствующей службе...

– Товарищ генерал, – сказал я отчетливо. – Все необходимое будет сделано в самый краткий возможный срок.

– Надеюсь, – сказал он. – Хорошо. Идите. И помните: более важной задачи у вас никогда не было.

Это еще как сказать, – подумал я. Хотя – кто знает? И мы, четко повернувшись, вышли из кабинета.

## VI

Мы уселись в неудобном ресторанном зале. Было полно, но не шумно – высокие потолки скрадывали звук. С первого взгляда можно было подумать, что ресторан оккупирован интуристами, но это были соотечественники, одетые в большинстве куда заграничное иностранцев, во всяком случае женщины. Пока Лидумс заказывал, я осматривался, вживаясь в обстановку.

Интересного ничего не было, только одна пара привлекла внимание: молодая, очень красивая женщина с надменным, немного капризным выражением лица (лет двадцати пяти, прикинул я) и с нею мужчина раза в два старше, не очень видный, одетый неброско, но что-то от богемы чувствовалось в нем; какой-нибудь преуспевающий деятель культуры с клюнувшей на деньги девицей, наверное. Они негромко переговаривались, я не слышал о чем, но руки помогали понять, они лежали на столике, ее и его, одна в другой. В их сторону посматривали, но они не обращали внимания – видимо, привыкли. Она что-то сказала, он улыбнулся ей, и я вдруг понял, почему они вместе, и понял, что деньги тут ни при чем – по этой улыбке и по тому, как женщина распахнулась навстречу ей; мне стало вдруг обидно – обидно за себя, за все, что могло быть, и чего не случилось. Наверное, обида эта нашла выход в моем взгляде; человек ощутил его, поднял глаза на меня, и я увидел в них спокойную печаль, что дается пониманием жизни. Мы были примерно одних лет, и я пожалел, что не научился смотреть так на все окружающее.

– Ну, – сказал Лид мне, слегка выкатил глаза и шевельнул рыжеватыми усами; они у него словно жили самостоятельной жизнью, шевелились, топорщились, вставали дыбом и выражали не меньше, а порой и больше слов. – Что-то ты мне не очень нравишься. – Он никогда не стеснялся в таких случаях; не молчал, правда, и тогда, когда было за что похвалить. – Так сколько лет мы не виделись?

– А черт его знает, – сказал я. – Не помню. Вместе не служим с шестьдесят третьего.

После шестьдесят третьего мы с ним, конечно, встречались, но мельком, все собирались посидеть и поболтать, но то у него не получалось со временем, то у меня. Наверное, так можно всю жизнь прособираться на встречу с человеком – и не собраться.

– Ладно, – сказал он. – Вот мы, наконец, и поболтаем. Рассказывай, что у тебя нового. И не таращи глаза на чужих дам.

– Я просто так гляжу.

– Осматриваешь подземелье?

– Почему подземелье?

– Ах, черт, – сказал он. – Да... Привязалось. Интересно, что все-таки там было? Прелестно, если бы там оказался, скажем, угольный бункер. Или котельная. Или слесарная мастерская. Или, например, подпольная типография.

– Подпольных типографий, думается, здесь не было, – усомнился я.

– А котельные не заглубляют на двадцать метров. И ворота в них не делают из легированного сплава.

– И не императорская усыпальница, – предположил я.

Лидумс кивнул:

– Склепы были в другом месте. А если, допустим, какая-нибудь секретная тюрьма службы безопасности?

– Это если бы служба безопасности находилась в доме сверху. А где она располагалась у них действительно? Ты знаешь?

– Знаю, – сказал он. – Тут, в центре. Не годится. Ну, а почему не предположить чего-нибудь попроще? Скажем, склад взрывчатки?

– Тогда уж скорее винный погреб.

– Вряд ли, – вздохнул он не без сожаления. – А почему не склад?

– Возьми хотя бы подъездные пути. По-твоему, туннель приспособлен для транспортировки бомб и снарядов? На руках их там, что ли, носили? Куда подгоняли машины? Да и какой идиот станет располагать склад боеприпасов под жилым домом, в населенном районе? Брось. Да вообще: мы сюда отдыхать пришли, или?..

– Ты прав, – согласился он. – Отдохнуть, поговорить за жизнь. Ну, рассказывай, что у тебя нового. Я усмехнулся.

– Считают, – начал я, – что квазары – все-таки естественные образования. Так что вряд ли стоит интерпретировать их, как систему сигналов, содержащих информацию о чужом разуме.

Когда-то мы любили говорить с ним на такие темы; оба мы считали себя несостоявшимися физиками, хотя ни он, ни я никогда и не пытались стать физиками; армия крепко держала нас с самой молодости, и чем дальше, тем труднее становилось представлять свою жизнь вне ее: армия – не профессия, это образ жизни, охватывающий все стороны твоего физического и психического бытия – если ты, конечно, не случайный человек в ней. Но тем не менее физику и астрономию мы с ним любили, и говорили на такие темы много, с горячностью и бескомпромиссностью дилетантов. И сейчас я сделал попытку с самого начала повернуть разговор в эту сторону: там, где мыслишь астрономическими категориями, для личных тем не остается места, настолько ничтожными кажутся они по сравнению с ленивым величием мироздания. Но со времени последнего такого разговора мы стали куда старше, и Лидумс на мою уловку не поддался.

– Об этом поговорим в другой раз, – сказал он, – и не прекословь. У нас еще будет время порассуждать обо всем, чего мы не знаем, а сейчас черед того, что мы знаем. – Он ухмыльнулся, как всегда, когда ему казалось, что он сострил; остричь он любил, но юмор его, хотя и обладавший пробивной силой подкалиберного снаряда, «отличался» легкостью и гибкостью тяжелого танка. Только указывать ему на это не следовало: можно было спорить с ним по делу, но все, что касалось его юмора, было неприкосновенным. – Излагай, как твои дела. Где Светлана, где парень, чем ты занят в своем хозяйстве, и прочее.

– Я уже пять лет один, – ответил я. – Вот тебе и весь сказ. Все здоровы, все благополучны. Каждому хорошо так, как есть на деле.

– А если и не хорошо, то никто этого не показывает, – кивнул он. – Вы оба всегда были упрямы. Почему все случилось?

– А черт его знает, – искренне сказал я. – Случилось вроде бы без повода, вроде бы неожиданно. Я потом пытался понять, когда же это началось. И нашел. Началось тогда, когда она впервые представила себе такую возможность. И высказала это вслух. А потом...

– И не было никаких причин? Я пожал плечами.

– Наверное, были... Я был сильно влюблен однажды. Может быть, даже не влюблен, а – больше.

– Долго?

– Да. Но там ничего не было. Знаешь, как у нас на это смотрят...

– Знаю.

– Ничего не было. Во всяком случае, с той стороны никому ничто не грозило. И не это было причиной.

– Что же?

– Не знаю – если говорить о нас. А если вообще – думаю, что догадался. Развитие наших психологии, мужской и женской, шло с разной скоростью. Мы еще не разучились командовать, а они уже разучились подчиняться. И найти равнодействующую поведениям трудно. Поэтому и детей рождается меньше, чем надо бы. Лет через двадцать – кого мы будем призывать в армию? Но кому интересно рожать, если мысль о почти неизбежном расхождении взглядов на жизнь присутствует, явно или скрыто, уже в самом начале союза? Правда, тогда кажется,

что это скоро пройдет, притрется – желание официально и без помех лежать в одной постели оказывается сильнее всего. То, что называют любовью и что в девяти случаях из десяти ею не является. А если говорить конкретно о наших женах – им приходится куда труднее, чем всем прочим. Да что я тебе объясняю...

– Так что сейчас ты один.

– Да.

– И как?

– Спокойно, – сказал я.

– На ковре стоял?

– Не без того. С батальоном расстался. Но как специалист уважения не потерял. Вот сижу, изобретаю. Как принято говорить – творческая работа.

– И не тянет в строй?

– Иногда... Тянет, наверное, не в строй, а в молодость. А она прошла в строю. Теперь их уже никак не разделить.

– А это твое одиночество – не подводит?

– Теперь – нет.

– Не запивал?

– Когда понял, что такая угроза есть – бросил напрочь, завязал, как говорят. Забыл вот предупредить тебя, чтобы на меня не заказывал.

– Ладно, дело добровольное... И больше закабалиться не думаешь?

Я хотел ему сказать, что чуть не закабалился однажды – но в последний момент испугался, и всю жизнь, наверное, буду жалеть об этом; было это в Риге, но служили мы тогда уже в разных местах и виделись редко. Однако к чему ему были такие детали? И я ответил кратко:

– Нет. Не думаю.

– Ну, ладно, – сказал он, отчего-то вздохнув. Помолчали, пока официант размещал на столе принесенное. Потом официант стал наливать из графинчика, я прикрыл свою рюмку ладонью и налил в бокал минеральной. – Давай, – сказал Лидумс, – за встречу.

Мы чокнулись, выпили каждый свое. Он вкусно поморщился, я почувствовал, что хочу есть. Некоторое время было не до разговоров.

– Ты поэтому такой? – спросил он, когда мы утолили первый голод.

– Какой? И – почему?

– Не такой, – сказал он с таким выражением, словно слова эти содержали откровение. Я пожал плечами.

– Время прошло...

– Мне ведь с тобой работать, – проговорил он, пристально глядя на меня. – Работа, как ты понимаешь, может оказаться нешуточной. Так что я хочу быть уверен. Хочу понять: что с тобой? Переживания после Светланы? Или она чем-то донимает? Неудачная любовь? Неприятности по службе? Здоровье? Короче – отчего ты такой... снулый?

– Ни в одном глазу, – снова попытался я уйти от сути разговора.

– Не финти, мася, – употребил он одно из его любимых, им самим изобретавшихся словечек, которые, каждое в отдельности, ничего не выражали, но без которых близким друзьям невозможно было его представить. – Может, ты просто устал без женщины – если ее и на самом деле у тебя нет? Давно не трогался тельцами? – Это снова был его лексикон. – Я заметил, как ты глядел на ту кинозвезду...

– Она артистка?

– Не знаю, кто она. Впервые вижу. Но – могла бы. – Он хищно шевельнул усами. – Ответь, шнябли-бубс.

Он употреблял свои словечки чаще, чем (как мне помнилось) раньше – и не потому, что пара рюмок, выпитых сейчас, подействовала на него: в этом отношении он был железным. Он

просто хотел, чтобы я снова почувствовал себя в тех временах, когда мы были вместе, молодые и беззаботные (хотя тогда нам казалось, что забот у нас сверх меры, и может быть, так оно и было, но плохое обычно забывается быстрее); чтобы я снова стал легким на подъем, готовым на любое дело, пусть наполовину авантюрное, где успех гарантировали лишь отчаянная решимость, азарт и натиск – таким, каким я и был когда-то. Да, дело предстояло веселое, и он хотел иметь надежного напарника.

– Хвораешь ты, что ли? – начал он снова. – Какой-то ты все же кислый. Может, обиделся, что я тебя встретил без цветов? Так видишь ли, я до последнего момента и не знал, что тебя прикомандировали.

Я лениво поразмыслил: обидеться или не стоит? Но в конце концов, мы действительно не встречались кучу лет, и за это время случилось множество такого, о чем Лидумс не знал. Так что я лишь пожал плечами:

– Я в норме.

– Странная какая-то у тебя норма стала, – буркнул он. – Или зубы болят? Расскажи о своей тоске, и мы тебя сразу вылечим. Найдем средство...

– Спасибо, доктор Лидумс, – поблагодарил я, давая понять, что прошлое не забыто. Мы когда-то звали его доктором за любовь к медицинским советам и консультациям, которые он предоставлял охотно и в неограниченном количестве. – Но пульс у меня нормальный.

– Ну, ладно, – вымолвил он медленно, с расстановкой и, пожалуй, даже угрожающе; но это была просто такая манера. – Тогда, может быть, поболтаем немного о деле? Спокойно, неофициально, без протокола, в порядке бреда... Хотя бы насчет моей гипотезы относительно склада. Кто сказал, что мы видели единственный и главный вход? Может быть, это как раз запасной выход?

– А главный где же?

– А понятия не имею. Он может оказаться в любых, пока еще не раскопанных развалинах в радиусе хотя бы сотни метров. А то и не склад, а завод взрывчатки. В развалинах могли быть и подъездные пути, и подъемники, и все, что нужно. Есть логика?

– Н-ну... не исключено.

– Знаешь – мне, откровенно говоря, хотелось бы, чтобы там оказался именно склад. Потому что тогда вопрос об уничтожении уладился бы сам собой.

Я только взглянул на него, потом отвернулся и снова стал глазеть на ту женщину с ее спутником.

– Ладно, – сказал он. – Но что-нибудь другое ты предложить в состоянии?

Я пожал плечами.

– Нет, – сказал он. – Так ты не отделаешься. Возражать легче всего. Но я пока ничего другого не вижу. А если ты видишь, то давай, не тяни резину.

– Подумать надо...

– Мысли в темпе.

Он был прав. Сейчас мне нужно было упорно вводить свои мысли в нужный ритм, задать им истинное направление, искать варианты, из которых потом часть отпадет, как маловероятная, останутся наиболее достоверные, и можно станет разрабатывать схемы. Я – сова, человек ночной, и мне думается лучше всего именно по вечерам.

Но сейчас не хотелось возвращаться – хотя бы мысленно – в подземелье, думать о возможных схемах минирования и вообще о чем-то, связанном с задачей. Я попытался все же мысленно распахнуть стальные ворота, переступить порог, оглядеться, увидеть... Что увидеть? Коридор с выходящими в него дверями? Обширный зал? Или всего лишь промежуточную площадку с уходящей вниз лестницей, исчезающей, может быть, в черной, неподвижной роде? И – аккуратные, стандартные ящики у стен, наполненные взрывчаткой, с подползающими к ним яркими пластмассовыми шнурами или проводами в надежной изоляции? А возможно, не

ящики, а серые цементные заплатки к бетонной стене – и провода или шнуры уходят в этот цемент, а все остальное – там, внутри?.. Я попробовал мысленно увидеть все, названное только что – и не смог. Картины не возникало; и не потому, что я не знал, что же в действительности находится за воротами: на то и фантазия, чтобы представлять то, чего не знаешь, на то – интуиция и догадка. Но интуиция молчала, фантазия не работала, опыт исчез, словно его и не было.

– Пока у меня конкретных мыслей нет, – сказал я. – Но нельзя предпринимать что-то, не обладая никакой информацией. Что пока есть у нас? Мы предполагаем, что место это минировано. Знаем, что можно подойти к воротам. И все. Что за заглушка в воротах? Фальшвинт? Это если бы они отворялись наружу. Что за болты в потолке? Ничего мы не знаем. А если там хранятся тысячи тонн? И уничтожение даст взрыв такой мощности, на какую мы и не рассчитываем? Нет, без информации к такое дело никто не пойдет. И ты тоже. Нужны сведения, которые помогут проникнуть внутрь и решить вопрос на месте.

– Только и всего. Чего же ты хочешь?

– Узнать и понять. Если там на самом деле заряд, то почему он не взорван при отступлении? Не дошел приказ? Не сработало устройство? Или рассчитывали вскоре вернуться и надеялись, что мы ничего не успеем обнаружить? Впрочем, почти так оно и получилось...

– Кроме одной мелочи: они не вернулись.

– И еще одно, чего я больше всего боюсь: система минирования рассчитана именно на попытку вскрыть подземелье каким-либо из общепринятых способов.

– Ну, а конкретно что?

– Надо найти людей, что-то об этом знавших. Бывших сотрудников, жителей. Это возможно – если обратиться к архивам разведки, к живым разведчикам, наконец, к товарищам из ГДР...

– У тебя программа на год.

– Времени уйдет столько, сколько потребуется. Лидумс покачал головой.

– Ты хочешь ставить все как научный эксперимент. А это не получится. Ты сам понимаешь, почему. Я же рассуждаю практически. Если мы пойдем на уничтожение, все твои сложности отпадут.

– А если все же просчитаемся?

Вот упрямый черт, – подумал я о нем. – Вроде бы он слушает оппонента, и принимает к сведению аргументы, но лишь до тех пор, пока не поверил во что-то; тогда его не переубедить, и он все равно будет стараться сделать по-своему. Сейчас он каким-то образом уйдет от вопроса о возможном просчете...

– Да, кстати, – сказал Лидумс. – Пока официант спит, прикинь-ка, какой мощности взрыв можно допустить, если мы хотим, чтобы радиус зоны разрушения составил... ну, скажем, не более двухсот метров.

– Почему именно двести?

– Потому что примерно в таком радиусе там нет ничего, чем нельзя было бы пожертвовать. Район развалин. Дай хотя бы порядок величины, чтобы представить: если там наибольшее мыслимый, по нормам хранения, запас взрывчатки, вправе мы рискнуть или нет?

Прикину, отчего ж не прикинуть... Водя вилкой по пустой тарелке, я попытался было, но коэффициент сопротивления среды (а среда здесь была – плотный, влажный песок) куда-то провалился в памяти. Я принял его за один и две десятых: примерно таким он и должен быть. Но в формуле был еще корень кубический, а таблиц я, понятно, с собой не имел, так что можно было оперировать лишь приблизительными цифрами, по памяти. К тому же, надо было учесть мощность, необходимую для перебивания бетона, но для этого надо было знать толщину стенок, а мы ее не знали...

– Во всяком случае, счет пойдет на сотни тонн в тротиловом эквиваленте.



– У меня тоже так получается, – кивнул он. – Надо бы, конечно, еще прикинуть, какой будет зона первой и второй степени безопасности от ударной волны...

– У меня калькулятор в чемодане, – сказал я, чтобы закончить на эту тему. – Да ведь все равно без инфраскопии не обойтись, ты сам прекрасно понимаешь. Чего же считать зря?

– Инфраскопия? А что, это уже мысль. Но думаю, что выйдет все же по-моему.

Я устало кивнул. Снова все показалось мне неинтересным и ненужным. Ну, хочет подорвать – пусть подрывает. Ему виднее. Хочет сохранить отношения со строителями – и дай ему бог...

– Ладно, – сказал я, – вроде, отношения мы выяснили. В таком случае я, если ты не возражаешь, сегодня же возвращаюсь в Ригу. В штабе округа доложу свою точку зрения, а там – как прикажут. Отпустят – уеду восвояси. С подрывом ты и сам разберешься, если только не разучился рассчитывать заряды.

– погоди, не спеши, – возразил Лид уме. – В Москву не спеши. Отчего тебе не задержаться в Риге после стольких лет? Навестишь заодно Семеныча... Если станется по-твоему, и инфраскопия покажет, что заряд там слишком велик, хочешь – не хочешь придется искать способы проникновения. А тогда без тебя будет затруднительно. Так что все же обоснуй серьезно свою точку зрения.

– Хорошо.

– Тогда мне надо сейчас же позвонить в Ригу, пока еще могу застать: оборудование для инфраскопии мне самому не выбить, это придется, вернее всего, делать через округ. Номер в Риге за тобой остался? Понадобись – позвоню. А ты в случае чего информируй меня через округ: я пока еще не знаю, где меня тут поселят. Так что окончательно не прощаемся. Сделаем дело – тогда уж посидим и поговорим в свое удовольствие... Ну, спешу. Счастливо.

Я кивнул, прощаясь. Официант все не шел. Мысли текли лениво, о Риге, о прошлом, о чем угодно. Только не о деле.

А потом подкралась еще одна, и ужалила меня, как боек взрывателя жалит капсулю.

Может быть, мне вообще не следует участвовать в этой операции? Честно ли я поступаю? Не лучше ли откровенно сказать: не могу. Не в силах напрячься до конца, мобилизоваться предельно, выплеснуться до последней капли, ощутить всю громадность ответственности, что лежит на мне? Может быть, я просто обязан заявить это?

Но почему? Что со мной? Я ведь здоров и нормален, и многое во мне сразу же восстает против такого исхода.

Что протестует? Может быть, это великий армейский рефлекс: мне приказано – значит, я должен выполнить любой ценой. Может быть – психология человека, все чаще (возраст!) задающего себе вопрос: а что же я сделал в жизни? – и, чтобы ответить на него, пересчитывающего все неразорвавшиеся бомбы, откопанные склады, разминированные здания, потому что ничего другого, поддающегося точному количественному учету, я в жизни не сделал: не построил домов, не посадил деревьев, строго говоря, даже не воспитывал людей, своих подчиненных, их воспитывала армия, в которой я был всего лишь малой и легко заменимой деталью. А вот обезвреженные фугасы – это мое, это делал я сам, своими руками, рискуя своей жизнью, прежде всего – своей.

Может быть, протестовало еще и то, что мне давно уже не приходилось решать практических проблем такого масштаба, в которых ты борешься не с тротилом, но с разумом и волей человека, заложившего заряды и постаравшегося придумать все так, чтобы никто не смог этого разгадать – а я смогу, и сделаю это, может быть, действительно, самое важное, как сказал генерал, самое хитрое и самое крупное дело в моей жизни. Конечно, смогу. Не впервые же мне, в конце концов, браться за опасные дела. Все придет в нужный момент, как-никак я – старый боевой конь, и нужные рефлексy сработают. Надо просто, чтобы ведущим был Ли-думс, а я – дублером, страхующим, и все будет в порядке. А отступать я на привык. Да и на каком осно-

вании? Меня спросят: а что с вами, подполковник, такое? Вы больны? Здоров. Вы боитесь? Нет. Думаете, что вам не по силам? Но если не вам, то кому же? В чем же дело, товарищ подполковник?

Я не смогу сказать только одного – того, что, может быть, и является истиной, первопричиной, источником всего. Что мне – все равно. Все равно. Все равно.

Этого сказать нельзя. И потому, что равнодушных не любят. И потому, что я не знаю, откуда взялось это и как с ним справиться, и никто не знает, во всяком случае – никто не может сказать мне. Если мне все равно – значит, надо подавать рапорт и уходить в отставку. Но об отставке я мог, и даже любил порой, думать, зная, что ото не всерьез. А всерьез – мне становилось зябко. В армии прошла жизнь. Мне сорок восемь, я привык так, и не хочу иначе. Или – все равно?..

## VII

Ему было все равно.

Устройство общества делит нашу жизнь на две основные части: служебную и личную. Принято считать, что для общества и для нас важнее – первая, потому что именно эта часть жизни посвящена созданию каких-то важных для общества ценностей – материальных, духовных, сервисных. Мы рассматриваем человека прежде всего с точки зрения его участия в производстве таких ценностей, его успешной деятельности в этом производстве. Мы хвалим или критикуем, награждаем или взыскиваем – за это. Есть медали за трудовую доблесть и за трудовое отличие. Нет наград за доброту, порядочность, человечность, чуткость, готовность помочь, и так далее. Возможно, подразумевается, что человек и так должен быть добрым и порядочным, и что эти свойства и продиктованные ими поступки уже сами в себе несут награду. Наверное, это так. Но и хорошо сделанная работа несет в себе награду – ощущение мастера, однако, известное «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» вовсе не исключало для поэта необходимость оценки и признание «Годунова» обществом. И так же (возможно, в этом сказываются слабости человеческой натуры, но что поделаешь, если он устроен недостаточно совершенно) человеку нужно, чтобы и доброта его, и отношение к другим людям, способность сочувствовать и соучаствовать не только на словах, но и на деле, потребность поддержать другого и прийти на помощь, не только приносили ему моральное удовлетворение, но и были замечены и признаны обществом, потому что именно отношение общества к отдельному человеку всегда было и, наверное, навсегда останется основным мерилем успешности его жизни хотя бы в силу того, что человек вне общества не существует. Если же этого не происходит, – а но большей части так оно и бывает, – человек, взрослея и набираясь опыта, стремясь жить в соответствии с установлениями общества, а не наперекор им, постепенно начинает считать, что в его жизни главным является то, за что его замечают, отмечают и хвалят, а не то, чего не замечают и не хвалят. И, продолжая совершенствоваться в том, что он теперь уже уверенно считает своей общественной полезностью – в той части своего бытия, которая связана с деятельностью, приносящей реально ощутимую пользу обществу, – он не делает чего-либо подобного во второй части своей жизни, которую с той же убежденностью считает теперь только своей, личной частью жизни, не имеющей отношения к другим, никем не замечаемой и не ценимой. И порой, оставаясь активным и признанным производителем штатных ценностей, человек перестает порождать ценности якобы нештатные – не планируемые и не оцениваемые. А поскольку человек в полном смысле слова существует только при условии развития именно этих вторых, непродуцированных, но на самом деле глубоко социальных, необходимых и истинно человеческих качеств, то по мере затухания в нем этих свойств он понемногу перестает быть человеком, теряет вкус и интерес ко всему, что не касается ни его материальных потребностей, ни конкретной, производственной (в широком смысле) деятельности, и общественная его значимость постепенно уравнивается с общественной значимостью сложного станка, исправно выполняющего свою работу, но вне ее пределов никак не влияющего на жизнь общества. Возможно, в этом и лежат истоки отчуждения, самоизоляции, замкнутости. И, возможно, именно это привело в конце концов Акимова к тому состоянию, в каком пребывал он сейчас. И хотя со стороны движение его по жизни представлялось по-прежнему нормальным, на самом деле это было уже движение по инерции разогнанного механизма, катящегося по отшлифованным рельсам благодаря хорошо смазанным подшипникам.

Внешне, действительно, могло показаться, что никаких серьезных перемен в нем не произошло. Он по-прежнему относился к службе серьезно, подчиненные его уважали, потому что он знал и умел больше других, потому что заслуженная в свое время репутация способного и умелого специалиста, не нарушенная никакими явными ошибками или упущениями, уже

сама по себе заставляла уважать. Он считался хорошим товарищем – но теперь скорее потому, что не совершал нетоварищеских поступков, а не потому, что совершал товарищеские. У него не было семейных неурядиц – он давно уже был одинок; за ним не числилось того, что принято называть аморальными поступками, и не только потому, что моральный облик офицера является такой же составной частью его служебного уровня, как и профессиональная квалификация, и, следовательно, относится скорее к первой, чем ко второй части жизни, но главным образом по той причине, что не был тем, кто в просторечии определяется как «юбочник» или, грубее, «бабник», а возникавшие иной раз отношения со столь же одинокими женщинами никому не приносили никакого вреда, хотя самим им – не много и радости, отчего и не бывали длительными. О карьере он больше не заботился, продвижения не ждал и не хотел, пожалуй, так как с угасанием желаний и стремлений ему становился дороже всего покой, сохранение привычного, ровного образа жизни, который всякая перемена непременно нарушила бы. Он не избегал общества сослуживцев, но старые друзья, если они еще оставались, находились далеко, а новых он не заводил. Он не портил компании, но и не улучшал ее. Никто не ожидал от него вреда, но давно никто и не обращался к нему за помощью – и он теперь уже не чувствовал потребности в том, чтобы к нему обращались.

Он не мог бы сказать, почему и как это началось. Не было одного какого-нибудь события, от которого можно было бы вести отсчет его душевного увядания – пожалуй, так точнее всего будет назвать это состояние. Не было краха надежд, резкого разочарования в чем-то или кокто. Возможно, было много – несколько, по крайней мере – событий, не столь крупных, но он сам затруднился бы назвать их, точно так же, как определить" даже не день, но год, когда это началось; да он никогда и не задавался такой целью. Больной человек долго не догадывается, что болен: изменение самочувствия происходит не сразу, но постепенно, это не катастрофа, а заболевание, которое порой приводит к еще худшим результатам. Ему долго казалось, что все продолжает идти нормально, и если меняется, то не более, чем должно меняться, потому что годы не оставляют неизменными никого и ничего. И лишь в последнее время он стал задумываться; однако не очень, потому что все это вроде бы ничуть не мешало ему служить и жить спокойно – если, конечно, не говорить о тех беспокойствах, которые неразрывно связаны с военной службой, с самой ее сущностью, и которые и являются органической ее частью.

И вот теперь, когда впервые за долгое время перед ним встала, действительно серьезная задача, он вдруг ощутил, что не в состоянии воспринять ее, как бывало раньше, словно сигнал тревоги, сразу мобилизующий все его способности. Он воспринимал все это отвлеченно, словно плохую книгу, события я герои которой не волнуют, не вызывают никаких чувств, не задевают и забудутся раньше, чем будет перевернута последняя страница, если достанет равнодушная добраться до нее. Он почувствовал это и испугался.

Но как это свойственно большинству людей, интуитивно догадываясь о размерах беды, Акимов почти сразу стал утешать себя тем, что на самом деле беда эта меньше, чем ему представляется, а может быть, ее и совсем нет, и он просто фантазирует под влиянием настроения, усталости, новых сегодняшних впечатлений, которые нельзя было назвать радостными – к всем этап лишь усугубляет и усталость, и плохое настроение. Если бы все это происходило раньше, он выпил бы водки, чтобы отвлечься и перескочить рывком на что-то другое. Но он давно уже дал себе слово, и честь не позволяла ему нарушить его, даже если обстоятельства, как могло показаться, оправдывали бы такое нарушение. Оправдания такого рода нужны слабым, считал он. А себя, как это делает подавляющее большинство людей вообще, он относил к сильным. Но отвлечься надо было.

Он поднял глаза. Необычная пара за тем столиком распалась: мужчина сидел, а женщина исчезла. Акимову стало грустно, как если бы он знал, что пребывание этих людей вместе – правильно и естественно, а разделение – неправильно и что-то нарушает, расшатывает какой-то, неведомый Акимову, устой. Грустно, словно что-то отняли не у того печального (но не груст-

ного) человека за столиком, а у самого Акимова. Но тут смолк оркестр, и он увидел ее – другой мужчина провожал ее к столику. Значит, она просто танцевала. Сейчас он видел ее в полный рост и подумал, что в фигуре ее и во всем облике было что-то вызывающее, а выражение лица противоречило этому, в нем была странная одухотворенность, словно она только пребывала в некоем творческом порыве, а не просто топталась в ресторанной толчее в паре со случайным партнером. Акимов подумал именно так, потому что не любил танцевать. И подумав так, он встал, одернул китель и направился к тому столику, потому что снова заиграл оркестр, и надо было успеть пригласить ее, пока не перехватили другие.

\* \* \*

## VIII

Не знаю, почему я сделал это. Можно было найти сто объяснений, и ни одно из них не исчерпывало бы сути до конца. Наверное, самым правильным будет сказать, что ощущение, заставившее меня, танцора лишь по крайней необходимости, встать и пойти – ощущение это было сродни тому, какое возникает, когда присутствуешь при каком-то единственном, уникальном событии, и невольно хочешь к нему приобщиться, чтобы когда-нибудь сказать себе: я тоже был там, и я в этом как-то участвовал. В этом желании не было ничего от плоти, от того чувства, с которым, проголодавшись, смотришь на красивые ножки и представляешь все остальное. Скорее тут было желание войти и сделать несколько шагов в другом мире, где нет взрывчатки, подземелий, службы; мне почему-то показалось, что мир этот сейчас находится где-то совсем рядом.

Я шел жалел, что чувствую себя нынче не самым достойным образом, и что она не знает меня таким, каким я бываю в свои лучшие минуты. И опять-таки: я жалел об этом не потому, что мне хотелось бы произвести наилучшее впечатление на женщину, чтобы потом попытаться использовать это впечатление для своих, простых и обычных для одинокого мужика, целей. Я переживал что-то вроде неловкости за то, что представляю ее взору зрелище менее эстетичное, чем могло бы быть, как если бы она имела полное и абсолютное право смотреть только на красивые вещи – и ни на какие других. Пока я преодолевал несколько метров, что разделяли наши столики, она смотрела на меня, угадав мое намерение – смотрела с иронией и без особой доброжелательности. Я подошел, щелкнул каблуками и обратился, как положено, к ее спутнику; и вдруг мне страшно захотелось, чтобы он отказал мне, не разрешил; захотелось, словно бы я, пригласив ее, вваливал на себя какую-то тяжелую работу с высокой степенью ответственности, – работу, от которой надо бы отказаться, а не напрашиваться на нее самому... Однако он не отказал мне; он набивал в тот момент трубку, поднял глаза и лишь кивнул. Женщина встала, улыбаясь мне, в улыбке был какой-то странный вызов. Отступать было нельзя.

Современная манера танца для таких, как я, удобнее: меньше вероятности наступить партнерше на ногу. Однако этих танцев я не любил – и не потому, что, как многие считают, армия в таких вопросах консервативна. Просто в дни моей молодости танцевали иначе, и в этом, по-моему, был немалый смысл: и в семье, и в танце тогда главным была тесная связь между двумя людьми, а теперь и тут, и там каждый из них превыше всего ценит свое право делать совершенно не то, что в данный момент делает другой. На мое счастье, оркестр играл сейчас что-то медленное, и я взял ее за руку, положил другую ей на спину. Впрочем, не положил. Как ты поддерживаешь женщину правой рукой, имеет немалое значение: можно сразу, крепко, плотно прижать ладонь и привлечь женщину поближе к себе, как бы говоря: «Да, я этого хочу, я настойчив, и ты уступишь». Можно – иначе. Я сделал так, как мне представлялось самым правильным: лишь слегка прикоснулся к ее спине ребром ладони. Ее веки дрогнули, она чуть улыбнулась: поняла и оценила. Да и что удивительного?

Танцевать можно молча, но это, я думаю, лишь после того, как все уже сказано словами (если собственно языком танца человек владеет далеко не в совершенстве). Поэтому я сказал:

– Я заметил вас сразу. – Это вряд ли удивило ее, скорее она не поверила бы обратному. Начало вышло достаточно банальным, надо было спешить. – Сначала мне подумалось: вот женщина, созданная на нашу погибель. – Тоже не бог весть как оригинально, но тут я намеренно сказал «мне подумалось» вместо «я подумал» – такой оборот речи уже говорит кое-что о человеке; это она поняла тоже. – Но потом усомнился: может быть, не на погибель, а на спасение?

Выражение ее немного усталого лица, до сих пор ясно означавшее: "Танцую с вами, потому что мне нравится танцевать, и потому, что отказать было бы невежливо, но только не подумайте, что вы во мне вызвали хоть малейший интерес, – выражение это изменялось, и она

взглянула на меня с любопытством. Но где-то было во взгляде и другое: «Милый мой, все эти подходы я давно знаю»,

– И спасти вас надо, конечно, любовью?

Танцевал я достаточно однообразно, без фантазии.

И в этом тоже чувствовал себя виноватым: она, безусловно, заслуживала лучших партнеров. Но если бы я стал думать о фигурах танца, то не смог бы думать о своих словах. А они почему-то казались мне важнее.

– Любовью? Смотря как понимать... Где-то сказано: «Красота спасет мир», – у Достоевского, кажется? Не любовью, как действием, а самим пониманием того, что такое чувство действительно существует на свете, что оно – не выдумка и не иллюзия. Нет, дайте досказать. Я не собираюсь приставать к вам, просить телефон и назначать свидание, Любовь – двоякое существо, сильное своей плотской стороной, но неодолимое духом. Не обижайтесь, но издали вы показались мне плотью.

– А теперь – духом? – Она улыбнулась.

– И тем, и другим. Духом – не слабее. Наверное, именно такому сочетанию надо поклоняться, если поклоняешься любви.

– Мужчину, понимающего это, встречаешь редко. Особенно...

– Особенно в армии, хотите вы сказать?

– Нет, почему же... Особенно теперь, когда мужчины жалуются, что эмансипация отняла у них все права и радости жизни.

– Эмансипация? Но женщина властвовала всегда – среди настоящих мужчин, во всяком случае. Ей всегда поклонялись.

– И вы тоже?

– Боюсь, что у меня до сих пор это не получалось. Не знаю, почему. Может быть, не встречалось женщин, достойных того?

– Нет, – покачала она головой. – Именно поклонение и делает женщину женщиной. Без него она – гадкий утенок, и ваша обязанность – увидеть в нем лебедя, если даже никто другой не видит этого. Раз вы понимаете – вам удастся.

– Пока не удавалось.

– А такая способность иногда зреет долго. И торопить ее нельзя, как нельзя раскрыть цветок насильно. Но если у вас есть потребность в этом – оно придет.

– Спасибо, – сказал я. И не удержался: – А он тоже увидел в вас утенка? Ваш спутник?

– Мой муж? Ну нет, конечно, этого увидеть он не успел. Но он из тех, кто не поклоняется ничему на свете – и все-таки пришлось. А это во много раз дороже.

– Наверное, это нескромно, но все же осмелюсь... Он – ясно, тут нечему удивляться. А вы?

– А я – зеркало, я отражаю чувство и возвращаю его. И еще... Временами я должна смотреть на кого-то снизу вверх.

– И он того стоит?

Музыка кончилась, музыканты зашевелились, вставая, Я поцеловал ей руку.

– Спасибо.

– Вы были правы, говоря о спасении, – сказала она. – Если человеку плохо, очень плохо, в чем он может найти спасение, если не в любви? Я желаю вам этого.

– Вы полагаете, мне плохо?

– Так мне показалось, – сказала она. – Но все еще поправимо. Красота спасет мир – значит, мир спасет женщина.

Я отвел ее к столику, помог сесть – давненько не приходилось мне делать ничего подобного, и я удивился: выходит, ничто не забыто, не ушло из памяти – и поблагодарил ее мужа, а он снова ответил мне только глазами. Я направился к своему столику, зная, что больше танце-

вать сегодня: не стану, ни с нею, ни с кем вообще. Чтобы не разрушить впечатления. Какого? Я и сам не знал. Нет, я в нее не влюбился, конечно, я был очень далек от этого; кроме того, будь я волен выбирать, я бы выбрал кого-нибудь другого, не столь яркую женщину и не настолько уверенную в себе; мне всегда нравились тихие, те, что сидят в уголке – правда, обычно они не остаются такими надолго... Нет, ни влюбленности, ни намека на увлечение не было здесь, эта женщина (даже имени ее я не узнал, не спросил) существовала для меня скорее как некая отвлеченная, теоретическая величина; и все же что-то новое возникло с нею в жизни, какое-то новое настроение, новая струна, чей звук был пока слишком слаб, чтобы можно было точно определить его... Я сидел за столиком, вертя в пальцах сухую рюмку, размышляя и прислушиваясь к себе. Мир спасет женщина? Может быть. Только не мой. Мои любви отшумели. Осталось то, что называют сексом, похотью или естеством – название не меняет сути дела; да и, оставаясь, оно уже перестало что-либо определять и диктовать. Для одной жизни, подумал я, достаточно одного взрывчатого вещества, а тротил и женщина – это уж слишком...

\* \* \*



## Глава вторая

### I

Я всегда уважал древних философов – особенно тех, кто в конце концов оказывался прав. Да, все течет и все изменяется; да, нельзя дважды войти в один и тот же поток. И я протек и изменился, и Рига, где прошли многие годы моей жизни, тоже. Но поток потоком, а кроме него существуют и берега; они преобразуются куда медленнее, и порой очень много значит – выйти на знакомый берег, где ты некогда бывал не раз, и убедиться, что все так же мягок песок и пружиниста трава, а другой берег образует всю ту же знакомую, четко выгравированную в памяти линию. Другая вода течет в реке; но вода одинакова с виду, недаром говорят, что вся вода, во всех морях и океанах и впадающих в них реках, на самом деле составляет одну-единственную громадную молекулу. И вот ты устраиваешься в излюбленном издавна местечке, и тебе начинает казаться, что жизнь не текла, ничего не менялось, и все те же птицы поют в зеленой тени леса. Вот таким берегом была для меня Рига.

Самолет вылетел поздно. Лететь было всего ничего – взлет и посадка заняли едва ли не больше времени, чем собственно преодоление пространства; однако и этого времени оказалось достаточно, чтобы я окончательно расклеился. Не люблю летать, хотя в наше время полет и стал основным способом передвижения. Не люблю не потому, что боюсь; я, например, не люблю квашеной капусты – и не из боязни отравиться, а просто – не нравится, и все тут. Я считаю, что свое уже отлетал, и возраст дает мне право передвигаться более спокойным способом. Но служба чаще всего не предоставляет такой возможности.

Да, я предпочитаю поезда, хотя в последнее время, когда в вагонах запретили курить, они стали мне нравиться значительно меньше. В моей антипатии к воздуху виноваты, я думаю, планеры. Не изящные спортивные машины, на которых парят и устанавливают рекорды, а военные десантные планеры; в свое время мне пришлось немало полетать на них. Такой планер больше всего напоминал товарный вагон, к которому наспех приделали крылья и хвостовое оперение. В середине кабины кренили пулеметы или другой груз, кому что положено, расчеты усаживались на жестких лавочках вдоль бортов. Тонкие доски, из которых были сколочены эти планеры, не вызвали особого доверия, но главное было не в них. Буксировал нас транспортный самолет, на котором тоже летели войска; задача ставилась – приземлиться на захваченном парашютистами аэродроме противника и развить успех. Но на самолете лететь было куда лучше. Он все-таки металлический; кроме того, там ревели моторы за бортами, ничего другого не было слышно, и разговаривать приходилось, крича друг другу в ухо. А в планерах стояла тишина; буксировщик летел далеко впереди, и гул его моторов воспринимался лишь как слабый звуковой фон, на котором с предельной отчетливостью слышно было, как скрипит деревянная штурковина, на которой ты леишь. А скрипела она непрерывно, то потише, то резко и громко, как несмазанное колесо, скрипела, словно проклиная свою безмоторную судьбу. Наверное, планеру и положено было так скрипеть в полете, он же деревянный, конструкция не очень жесткая, нет сомнений в том, что запас его прочности был достаточно велик, – и все же, вслушиваясь в занудливые звуки (а больше слушать было нечего), я не мог отделаться от мысли, что сейчас эти скрипучие досочки разойдутся, и ты вместе со своими пулеметами и прочим спикируешь без парашюта, – а в падении без парашюта есть что-то глубоко унижительное и противное человеческой природе... В такие минуты – а их в часе ровно шестьдесят, лететь же приходилось никак не менее часа, – тебя не очень утешало то, что до сих пор в Вооруженных силах с такими планерами вроде бы не случалось ничего, никаких неувязок, они взлетали и благополучно приземлялись; тебе все равно хотелось лишь одного:

поскорее оказаться на тверди, хотя там ждала нелегкая солдатская работа. Но пусть она будет как угодно трудной, она будет на земле, а земля не скрипит, когда бежишь по ней, или лежишь, или зарываешься в нее; земля – капитальное сооружение, хотя и с ней можно позволять себе не все на свете: предел прочности есть даже у планет.

Вот эта неприязнь к скрипевшим летучим вагонам, которые сейчас, пожалуй, увидишь только в музее по соседству с пулеметной тачанкой, перешла у меня постепенно и на все прочие аппараты тяжелее воздуха, и тем с большей нежностью отношусь я к земле. Хотя для меня именно в ней таятся опасности: это ведь она укрывала и еще укрывает разные шкатулки с сюрпризами, что дожидались, а где-то и сейчас ждут своего часа. Вроде той самой, по соседству с которой я только что побывал, полюбовался на запоры и не мог позволить себе предположить, что ларчик открывается просто. Ларчик, набитый неизвестно чем, шкатулка с музыкой. Хорошо бы раздобыть партитуру этой музыки, чтобы нигде не сфальшивить. А это задача не из простых: восстановить по памяти музыку, которой никогда не слышал...

Такая вот мыслительная водичка журчала в моих извилинах, пока самолетик, в котором я сидел вместе с несколькими военными, не имевшими к нашему делу никакого отношения, накручивал километры на винты, хилыми своими плечиками расталкивая похожие на грязный мартовский снег облака. Но, подойдя в мыслях вплотную к нашей задаче, я поспешил отмахнуться от них: думать об этом не хотелось больше даже, чем лететь. Я пытался сохранить считанные крупинки покоя, унесенные из ресторана, до самой последней возможности, а стоит задуматься о деле, как всякому покою сразу же придет конец. Не знаю, как получается у других, но у меня мышление о подлежащих обезвреживанию объектах происходит в образах; когда думается хорошо, я не называю вещи их именами, я просто вижу внутренним зрением, вижу четко, как наяву: вот штабелями лежат прессованные четырехсотграммовые кирпичики тротила, десять на пять и на пять сантиметров; нет, там, скорее всего, лежат килограммовые, это же не наша взрывчатка, а их; в каждом кирпичике – пластмассовая втулочка с резьбой для капсюля-детонатора. Слой парафина, слой бумаги, еще слой парафина. Вот трубочка детонатора; промежуточного капсюля там, пожалуй, не будет, там вряд ли лежит литой тротил, там, конечно, прессованный. Если будет литой – тогда без промежуточного капсюля не обойтись... Интересно, какие там детонаторы? Простые или электрические? Скорее всего, простые; гильза, конечно, не картонная, а металлическая – алюминиевая или медная. Медная – тогда не исключено, что там успел образоваться азид меди, времени ведь прошло немало, а азид меди – такой подарок, что на него идохнуть боишься... Есть ли там и капсюли-воспламенители? Или подведен детонирующий шнур? Белый, желтый, а может быть, зеленый шнур в пластмассовой оболочке, скорость детонации – от пяти до семи метров в секунду...

Я четко вижу, как этот шнур пробирается: от ящика к ящику, ныряет в картонные трубки пиротехнических реле – чтобы не все грянуло разом, а с замедлением в долю секунды, в этом бывает иногда свой смысл...

Да ну его к черту, в самом деле. Успею еще насмотреться; не один фильм будет снят в голове, где в разных сюжетах выступают все те же действующие лица: взрывчатка, капсюли, шнуры, подрывные машинки... Но, пока еще можно, я не хотел увязать в этом сценарии, вступать в отношения с героями, красивыми и элегантными, как бывают красивы и элегантны многие орудия уничтожения жизни.

Не повезло, просто не повезло, безразлично-раздосадованно думал я под приглушенное гудение моторов. Вздумалось им строить именно на этом месте. Не наткнись они на подземелье, я и сейчас спокойно сидел бы в лаборатории, где можно и нужно думать не о том, как и при помощи чего поднимали на воздух людей, машины, сооружения раньше, но и о том, как лучше и целесообразнее делать это в дальнейшем – если приведется, конечно. Что делать: пока есть угроза войны, будут армии, пока существуют армии, они будут совершенствоваться – ракеты и кинжалы, танки, самолеты и автоматы, удар и защита. Над этим будем работать мы – я и

многие такие же, как я. Мы не хуже других знаем, что война – зло; мы лучше других знаем, какое это зло. Но пожарные нужны не только для того, чтобы тушить; они нужны, чтобы не загоралось, потому что они лучше других знают природу и повадки пламени. Однако до каких же пор придется еще встречаться не с тем, чего, надеюсь, и не будет, но с тем, что уже есть, неоспоримо есть, потому что прошлая-то война уж точно была, и сколько бы мы ни уходили от нее во времени, навсегда останется то, что она – была. И не только была, но и продолжается, потому что если сегодня заряд, заложенный почти сорок лет назад, взрывается, то он разрушает сегодняшнее, а не тогдашнее, и жизни уносит теперешние, жизни людей, еще, может быть, и не родившихся тогда... Для тех, кто будет обезвреживать этот заряд, война продолжается; но сколько же лет может продолжаться война для одного человека? Нельзя, невозможно десятилетиями сохранять тот порыв, который владел всеми четыре года и в результате которого мы победили. Может ведь когда-то прийти и усталость...

Но нет; и об этом я не хотел думать. Потому что все это – пустой разговор. Видимо, заряд есть. С ним можно сделать только одно: обезвредить. Сделать это могут специалисты. Я – из их числа. Если не я – значит, другой такой же. Приказано мне. Значит – я. И думать тут не о чем. Кому нужны лишние терзания?

Надо представить себе что-нибудь приятное...

Нет, на земле куда лучше, чем в воздухе. Если ты посыплешься с высоты, скажем, в тысячу метров, от тебя уже мало что будет зависеть, а на земле я пока что – хозяин. Мы уже не так резвы, как молодые, и большие напряжения нам вряд ли теперь под силу, но кое в чем мы их побиваем: в опыте и в точности движений. А это важно в нашем деле... Когда выйду в отставку – вдруг ни с того ни с сего подумал я, словно вопрос этот был уже решен и до отставки благополучно дожито, – когда выйду в отставку, то не стану заниматься гражданскими взрывами, работать по специальности, а найду занятие потише. Возьму и пойду к археологам. Однажды я провел отпуск в такой экспедиции; то ли сорвалась путевка в выбранный санаторий, то ли я не заказал ее своевременно, сейчас уже не помню, но отдохнуть меня, по чьему-то совету, занесло в украинскую деревню, а там по соседству археологи раскапывали курган. Их работа мне понравилась, и я взялся помогать им. Когда откапываешь какой-нибудь черепок, обдуваешь его, осторожно обмахиваешь кисточкой – это очень похоже на движения, какими ты обнажаешь взрыватель зарывшейся в землю бомбы, чтобы потом, миллиметровыми поворотами, вывинтить его, перевести дух и вытереть пот. Черенки, правда, не взрываются, но я порой забывал об этом, и меня подмывало крепкими словами шугануть тех, кто подходил и склонялся надо мною, потому что я привык работать в одиночку: в случае чего незачем уносить с собой лишние жизни.

Не знаю, помогли ли мне эти рассуждения сократить полет; но когда мы наконец приземлялись, я испытал облегчение не только от того, что можно было снова ступать по земле, но и обрадовался тому, что мог снова что-то делать, а не задумываться над тем, чего все равно никогда не передумаешь.

На аэродроме меня, вопреки моим предположениям, ждали. Ждали и в высоком военном учреждении, хотя время было уже достаточно позднее. Я доложил обо всем, что знал и что думал. Никто не удивился: Лидумс по ВЧ успел, конечно, изложить все подробно. Он был обязан сделать это, и я знал, что он не станет передергивать, излишне обосновывать свою позицию и хаять мою. Видимо, мнение начальства сложилось еще до моего появления. Так что я не удивился, услышав:

– Вариант полковника Лидумса предпочтительнее. Но только в случае, если не возникнет никаких осложнений. Ваши опасения, подполковник Акимов, кажутся нам достаточно серьезными. Соответствующие распоряжения уже отданы. Поэтому считаем ваше присутствие здесь и участие в операции необходимым. Уже завтра ожидаем поступления некоторых интересую-

щих вас данных – в той степени, в какой будет возможно собрать их. Буду звонить вам в девять-ноль. У меня все. У вас есть вопросы?

Я посмотрел на полковника, разговаривавшего со мной, и подумал, что вопросов нет: на большее я рассчитывать не мог, да ничего больше пока и нельзя было сделать. Хорошо, что мое мнение принято к сведению. С возвращением в Москву, значит, придется погодить. От этого никто не умрет.

– Вопросы нет.

– Свободны. Желаю хорошо отдохнуть. Если захотите пойти в театр, в филармонию...

– Спасибо, – сказал я. – Может быть, надумаю. – Я попрощался и вышел.

Когда утром я прилетел из Москвы, то ожидал, что меня устроят в нашей военной гостиничке. Оказалось, однако, что номер заказали в большом, хотя и не новом отеле в центре, «полулюкс», прямо по-генеральски. Сейчас я вернулся в этот номер, где терпеливо дожидался меня еще не распакованный чемодан, повесил плащ, сел и задумался.

## II

Не надо приезжать в одиночестве в места, где вы когда-то были счастливы вдвоем, пусть даже и не понимая, что это счастье; такое понимание приходит позже, когда останавливаешься, чтобы оглянуться – останавливаешься на миг, а может быть, и надолго. Не надо выходить одному на уцелевшие берега, где песок еще хранит следы двоих; пусть вы даже можете пройти, точно ступая в свой старый след, но отпечатки маленьких ног – рядом, никем не нарушенные и не повторенные, будут вызывать сосущее ощущение пустоты, пустоты во всем – если даже вам казалось, что все позабыто раз и навсегда. В дни, когда возникли эти отпечатки, оба вы понятию «вдвоем» не придавали особого значения: молодость самонадеянна, она не верит, что происходящее с нею сейчас может и не повториться в будущем, она уверена, что повторится в другом, куда лучшим варианте. Молодость; но беда в том, что мужчины (пусть и не все) чувствуют себя молодыми всегда, и жалеют лишь, что чем дальше, тем меньше замечают – это другие. Множество мужчин так никогда и не взрослеет и продолжает относиться к судьбе так, словно им все еще предоставляются десятки вариантов на выбор, и можно выбирать, подобно тому, как режиссер по альбому с фотографиями выбирает порой актрису на роль в своем новом фильме. Молодость очень требовательна, хотя и не к себе, и женщина, идущая рядом, может показаться вам неглубокой, порою вздорной, капризной, временами в чем-то уступающей другим женщинам; может казаться случайной, не той, какая, конечно же, когда-то придет. И вы не дорожите близостью, и не задаетесь вопросом, что представляет эта близость для нее, и что представляете для женщины вы сами. Вам кажется, что раз вы относитесь ко всему именно так, то и она относится не иначе. И расстаетесь: вам показалось, что дорогу вдруг пересекла другая, настоящая, вы бросаетесь за нею, отмахнувшись от всего и от всех, кто был рядом, догоняете; затем происходит то, что и должно случиться, когда вы окликнули человека, показавшегося вам знакомым, и убедились, что это вовсе не он, а совсем чужой, лишь издали чем-то напominивший старого приятеля: радостная улыбка сползает с вашего лица, взамен на нем возникает смесь неловкости, извинения и растерянности – достаточно глупое выражение; вы поворачиваетесь и плететесь своей дорогой. Так и получилось; назад возврата не было, меня там больше не ждали, да мне и вв хотелось назад, я з то время даже радовался, что эта случайность помогла мне все решить и доставить на свои места. Все еще было впереди... Но вот теперь большая часть всего находилась уже позади, и давно стало ясно, что именно то и было настоящим, тем, что вряд ли повторится. Когда ты служишь где-нибудь в отдаленных местах, как это случилось со мной, окружающее не напоминает о прошлом, а дела не оставляют времени, чтобы вспоминать. Но вот вы непредвиденно и вне связи с вашими желаниями оказываетесь там, где все это происходило – и тут уж не уйти от воспоминаний и самому себе адресованных упреков; да нет, даже не упреков, а разочарований в себе самом: в тогдашнем, еще не достигшем сорока, молодом, с нынешней точки зрения, и в сегодняшнем, почти уже пятидесятилетнем. Не уйти от боли, от ожогов раскаленной памяти.

Я расхаживал по своему номеру, подсознательно пытаюсь выплеснуть боль в движении, как если бы болел зуб, а не душа. Ничего, думал я, перетерплю, переболит, перестанет. Это не первый такой случай, когда память вдруг поворачивается в тебе, как старый, глубоко сидящий осколок или, может быть, как затаившийся в почке камень; тогда тоже болело – может быть, не так сильно, как на этот раз, а может быть, даже и сильнее: прежняя боль всегда кажется слабее той, что мучает сию минуту. Тогда утихало – уляжется боль и сейчас; к тому же, если припомнить, каждый такой приступ продолжался меньше предыдущего, их вообще давно уже не было, и если бы не этот неожиданный приезд в Ригу, его не было бы и сейчас, они почти совсем уже сошли на нет – так утешал я себя, расхаживая по номеру, – и вот уже скоро, совсем скоро, через несколько минут боль утихнет, исчезнет, растворится – и настанет прекрасное

состояние покоя, к которому я был уже совсем близок сегодня в ресторане. Покоя, уравновешенности, независимости, когда ты можешь заниматься чем угодно: писать письма или стихи, решать кроссворды или задачи в частных производных, читать романы или наставления, завязывать знакомства или прерывать их.

Но я знал, что ничего такого не сделаю. Потому что письма писать было некому, а стихи – не мой хлеб; решать кроссворды давно уже надоело, а задачи в частных производных – я разучился; романов с собой не взял, да и наставлений тоже. Ж прерывать знакомства было не с кем, а завязывать – ни к чему. Так что оставалось мне лишь одно: отключиться от всего, ни о чем не думать, не беспокоиться, но просто быть, – быть, существовать вне времени и пространства, вне причин и следствий, вне желаний, задач и целей. Просто – быть, раз уж вообще приходится быть.

И я, наверное, смог бы и на этот раз – как уже не однажды в прошлом – постепенно привести себя в такое состояние. Но что-то мешало. Встреченная в ресторане женщина, даже не она одна, а они оба, странная пара, нестандартная, вызывающая смутную надежду на то, что всегда что-то еще остается впереди. Что-то – я все еще не мог определить, что – заключалось в этой встрече, и это «что-то» заставляло меня на сей раз не уклониться от воспаления памяти, явно – начинавшегося, не замкнуться в раковину, а напротив, двинуться в контратаку, завязать с памятью встречный бой, не боясь боли, не думая о последствиях. Все равно, раз уж я здесь, мне никуда не уйти от этих улиц, где воспоминания пробиваются между булыжниками, проклевываются в трещины асфальта и негромко шуршат в подворотнях. А раз не уйти – не станем мучить себя ожиданием встречи: выйдем и встретимся сейчас!

Я. всегда вожу с собой гражданский костюм; он помогает мне, в случае надобности, отвлечься от служебных забот, почувствовать себя каким-то другим, легким и ни с чем не связанным, почти нереальным. И вместо того, чтобы откинуть одеяло и лечь спать, я быстро переоделся – свитер под пиджаком позволял надеяться, что я не замерзну без плаща, плащ у меня был один, форменный, – вышел в коридор, защелкнул дверь, поколебавшись, не оставил ключ дежурной, а сунул его в карман и, не дожидаясь лифта, двинулся по лестнице вниз – на свидание с молодым собой и кое с кем еще.

### III

Это я придумал хорошо. Выходить на улицу всегда лучше с какой-то целью. И я нашел ее. Я шел на свидание. Было достаточно поздно, двенадцатый час; я ни с кем не уламливался, меня никто не ждал, и я даже не знал, кто из бывших знакомых живет еще в Риге, кроме, конечно, Лидумса, с которым я только что расстался, и Семеныча, о котором полковник упомянул нынче в ресторане. Астри? Я не знал, здесь ли она, скорее всего нет – она еще тогда собиралась в Москву, у нее там что-то намечалось; но даже если бы я точно знал, что она здесь, я не пошел бы сейчас ни к ней, ни к Семенычу: не люблю, когда незваные гости врываются на ночь глядя, и сам стараюсь никогда не поступать так. Однако было еще одно место, и туда я мог прийти всегда, там никогда не бывало поздно, и там всегда можно было посидеть и поговорить без помех, или просто помолчать. Вот туда я и направился – пешком, спешить было некуда, а гуляя можно думать о разных посторонних вещах, о которых можно думать бесконечно, о судьбе, например.

Да, судьба. Раньше верили, что она написана на звездах, а может быть, на линиях ладони. Некогда старик, к которому я шел сейчас (он был несколько моложе сегодняшнего меня, но я тогда был еще только лейтенантом; инженер-майор – так звучало его звание в те времена, сейчас в нем майор вышел на первое место, потеснив инженера и тем подчеркивая, что мы прежде всего военные, а уж инженеры – во вторую очередь, – инженер-майор посвящал меня в тонкости формул для расчета контактных зарядов и в приемы работы со взрывателями комбинированного действия. При случае он любил поговорить о вещах мудреных с виду, но поддающихся логической расшифровке, а взрыватели как раз относятся к таким явлениям), – этот самый старик рассказывал, как один московский медик, профессор, решил было разобраться в этом вопросе. Рассуждал он так: если все это ерунда и бред собачий, то эксперимент покажет однозначно. Но, может быть, возможен и иной результат? И профессор попросил коллег из института Склифасовского снимать отпечатки, а может быть, фотографировать ладони доставленных к ним людей, ставших жертвами происшествий разного рода. К отпечаткам следовало прилагать краткий анамнез, дату и обстоятельства несчастья. Профессор собирался, накопив достаточное количество оттисков и судебных, исследовать их и установить: есть ли между ними какая-то закономерная связь, или же ей и не пахнет. К сожалению, вскоре об этом дозналось начальство, был большой шум и обвинение в потворстве вредным суевериям, и прочее, что полагалось в таких случаях. Сбор материала, естественно, строжайше запретили, эксперимент не состоялся, а вопрос о фиксированности судебных остался открытым. А жаль.

Значит, судьба, думал я, пройдя Советский бульвар и выйдя сквером на улицу Горького. Интересно, где записана моя саперная судьба? Да и есть ли она вообще? Можно, конечно, исходить из того, что каждый, кто занимается разминированием, обезвреживанием старых боеприпасов и вообще пиротехникой, должен рано или поздно подорваться. Но с такой точки зрения каждый шофер должен когда-нибудь попасть в аварию, каждый электрик – под удар тока, а каждый пешеход – под машину. На самом деле это не так. И я не собираюсь ошибаться. Нет, не бывает никакой особой саперной судьбы, все зависит от тебя самого. И судьба старика тоже зависела от него самого? Наверное... Тут я встрепенулся, и мысль о старике осталась недодуманной. Навстречу шла женщина, невысокая и – насколько позволяло разглядеть освещение – светловолосая, глаз ее нельзя было различить, но они почудились мне большими – и вдруг на мгновение до думалось, что это Астри, что она здесь, в Риге, что то же непонятное беспокойство, что и меня, выгнало ее на улицу в поздний час и толкнуло мне навстречу, и сейчас мы остановимся лицом к лицу, и вот это и будет судьба. На мгновение; потому что то была не она, это я понял еще шагах в пяти, и сразу утратил к ней всякий интерес. Она была достаточно

молода и привлекательна, но я уже привык в подобных ситуациях воспринимать женщин просто как деталь обстановки, не более.

Нет, это была не Астра. Но тут волей-неволей пришлось вспомнить о том, как мы с Астрой бродили по этим самым местам, и что говорили, и что делали, и как смотрели, и как прикасались друг к другу. Если сейчас повернуть по Горького назад, потом свернуть налево и войти в Старый город, то очутишься в паутине узких улочек; на одной из них, идущей вдоль старой крепостной стены, лежала некогда громадная катушка от импортного кабеля. Поздно вечером мы остановились у этой катушки, и Астра спросила, что подарить мне на завтра, в день моего рождения. Я попросил: «Подари мне себя». Она серьезно помолчала, потом кивнула и ровным, подчеркнуто ровным голосом сказала: «Хорошо». На завтра...

Но сейчас я шел по улице Горького не к Старому городу, а в противоположную сторону. И экскурсию по прошлому лучше было отложить до другого раза.

Но предположим, что у нас с Астрой все сложилось бы иначе. Никто не пересек бы дорогу ни ей, ни мне; я сделал бы предложение, и она вышла бы за меня замуж. Предположим... но к чему это привело бы? С ее точки зрения, у меня были немалые недостатки, и одним из них (она этого не говорила, но я и так понимал) являлся мой офицерский статус. Статус человека, не вольного в своей судьбе. Какое бы высокое звание ты не носил, оно не избавляет тебя от этого. Конечно, сперва она не стала бы об этом задумываться, перемена в ее жизни, обретение самостоятельности от родителей показались бы ей куда важнее; но позже все вышло бы на поверхность. Ей пришлось бы не очень-то сладко в тех местах, где я служил после Риги и до перевода в Москву. Очень. Совсем молодой женщине из большого города. И она не выдержала бы. Как, в конечном итоге, не выдержала Светлана, которой надоели военные городки в безлюдных краях и чемоданы постоянно на боевом взводе. Лично я награждал бы офицерских жен за выслугу лет точно так же, как самих офицеров. Этого у нас не делается – и напрасно. На свете есть не только матери-героини, но и жены-героини, только мы их не хотим замечать, словно выполнение долга дается им легче, чем нам.

По Барбюса я вышел на улицу Миера. Название это можно перевести как «улица Мира», но можно и иначе: «улица Покоя». Я придерживаюсь второго толкования. За виадуком я свернул налево.

Здесь не было домов, и тем не менее именно тут старик ожидал меня. Военное кладбище было в двух шагах – запертые ворота и распахнутая калитка. Я помедлил, прежде чем войти. Потянуло ветерком, и я вдруг ощутил, что это – весенний ветер, ветер молодости, предчувствий, томления и стесненного дыхания. Что-то такое было в его запахе, и казалось неуместным, что ощущение возникло не где-нибудь, а на пороге места, где навсегда упокоились многие.

От калитки мне нужно было бы идти прямо, по главкой аллее гарнизонного некрополя. Но я свернул направо – я здесь не случайный человек. Как много моих собратьев по профессии нашли последнее пристанище не на таких вот аккуратных кладбищах, а в кое-как вырытых и забросанных землей ямах, воронках, безымянных братских могилах – коммунальных квартирах потусторонности, а то и просто в снегу, в пожухлой или, наоборот, яркой и сочной траве, на дне рек и морей, в крематориях, смешались с лохмотьями своего дюрала и сталью чужих танковых колонн... Когда знаешь, сколько их осталось без памятника, без надмогильной плитки, на которой две даты, а между ними – прочерк, когда вспомнишь все это, то, ступив на песок гарнизонного кладбища, свернешь, не задумываясь, прежде всего направо.

Тут они лежат строем, как шагали при жизни в колоннах на марше и стояли на построениях. Могилы заправлены аккуратно, как койки в подразделении у хорошего старшины, и каменные таблички выровнялись по ниточке, – единообразные таблички, и дата смерти на них тоже совпадала: в те октябрьские дни сорок четвертого освободили Ригу.



Я медленно, словно командир перед строем, прошел мимо них, и те, чьи имена были на пластинах, показалось, медленно поворачивали невидимые головы, держа равнение на меня. Но не «ели глазами», а смотрели испытующе: тебя с нами не было, и мы не знаем, многого ли ты стоишь, а если стоишь – чем ты это докажешь? Любой из них имел бы право спросить так, даже тот, кто только что прибыл на передний край с пополнением, был распределен, не успел толком познакомиться с соседями по отделению и взводу, запомнить фамилии командиров, толком испугаться не успел, как назавтра пошел в свой первый бой и был убит (здесь лежали и совсем молодые, лишь в сорок четвертом призванные), – даже такой имел право потребовать ответа, потому что на переднем крае, в бою, никто не погибает бесполезно, даже если он не то что убить врага, но даже выстрелить в белый свет еще не успел, когда его настиг осколок мины или свинцовое веретенце. Все равно он пал с пользой, хотя бы потому, что сосед его, уцелевший, станет злее и сделает больше, раз уж так получилось... Они безмолвно вопрошали, и я таким же способом отвечал им: не думайте, что нам, военным, в мирное время легче. Во время войны результаты нашего труда налицо, и по ним можно судить, насколько мы хороши или плохи, а в дни мира результаты эти видны разве что специалистам: нашему военному начальству, правительству да еще дипломатам, за чьей спиной мы незримо стоим даже в самых сложных переговорах. В мирное время большинство людей о нас не задумываются, как не думают о воздухе, которым дышат, пока его вволю; разве что ругнут раз-другой, когда чего-то не завезли в магазин – все, мол, идет нам, но умный и тогда не ругнет. И еще потому нам нелегко, что в военное время победителей не судят, даже если они победили не по правилам, – судят побежденных, даже если они проиграли по всем правилам. В мирное же время результат условен, и я помню, как сокрушался в свое время старый офицер: "Двадцать лет штурмую эту сопку, и каждый раз говорят – неправильно. Нет, служба ж в мирное время – не мед. Не убивают, говорите вы? Ну, это еще как сказать..."

Так прошел я мимо строя солдатских могил – была у меня сегодня внутренняя потребность в этом, – возвратился на главную аллею и направился туда, куда, собственно, и шел.

Это, конечно, условность; в могилах лежат не люди, там доски и кости, а люди остаются в нас, и беседовать с ними можно в любое время и в той точке пространства, в которой ты в данный момент находишься. И все-таки идешь к могилам – потому, может быть, что там ты видел человека в последний раз, когда еще можно было сказать о нем, что это – он. Можно, но не всегда. Инженер-майор Авраменок, то самый старик, что наставлял меня когда-то в премудростях службы и ремесла, здесь, в том месте, к которому я сейчас приближался, уже не был похож на самого себя: особенность ремесла. При жизни он был грузным, с кое-как вылепленным лицом и не всегда сдерживался в выражениях. Вырос он в войну, из ополченцев. Некоторые офицеры недолюбливали его, считая, что он подлаживается к солдатам; на самом же деле он умел говорить с каждым на понятном языке и солдат любил, хотя поблажек не давал. И на сложное обезвреживание пошел сам, хотя имел право послать других. Склад крупнокалиберных снарядов был заминирован на неизвлекаемость, мина лежала внизу, под штабелем, но взрыватель ее был присоединен так, что при попытке извлечь любой из снарядов из трех верхних рядов он сработал бы. Нужна была ювелирная работа, чтобы подвести под эти три ряда с двух сторон стальные ребра, своего рода леса, надежно опереть их о землю, чтобы можно было извлечь снаряды следующего, четвертого ряда (что само по себе было .неимоверно трудно и опасно), а затем найти и перекусить поводки, чтобы отключить мину и спокойно разгружать штабель дальше, не опасаясь ее. Четко помню, как это было. Оставив всех нас за оцеплением, – я командовал тогда взводом, – майор двинулся к штабелю, небрежно, словно тросточкой или стеклом, помахивая лопаткой. Первый снаряд он вытаскивал не меньше, чем полчаса. Дальше пошло легче. Он относил их в сторонку бережно, точно спящих младенцев, потом мы переносили их и несли к стоявшей поодаль машине с насыпанным в кузов для мягкости песком. Происходило это в пределах дачного поселка, чуть ли не рядом со вскрытым хранилищем под-

нималась уже почти законченная высокая коробка нового санатория; если бы весь боезапас рвануло, строителям пришлось бы изрядно повозиться, прежде чем они смогли бы начать все сначала. После одного снаряда майор, заглянув в образовавшуюся пустоту, осторожно сунул туда руку, вынул что-то маленькое, блеснувшее, плоское, повертел в пальцах, пожал плечами и сунул в карман, чтобы затем снова приняться за свое дело. Я видел это, потому что стоял на другом конце широкой траншеи, заранее вырытой нами, чтобы легче было выносить снаряды, одновременно мы расширили и сам бункер, иначе там негде было повернуться, а пространство майору могло понадобиться. Майор снял весь ряд, нашел и перекусил погодки, затем позволил солдатам снять три верхних ряда; за это время мы уже не раз отвозили гостинцы туда, где можно было подрывать их: все другое было рискованно, слишком уж долго они лежали, да и не нужно, никакого секрета в них не было, обычная смерть. Пока снимали эти три ряда, майор отдыхал; подошел ко мне, вынул «Беломор» и с минуту курил молча, редко и глубоко затягиваясь и не сразу выпуская дым; выдыхал его старик медленно, даже чуть причмокивал губами, словно смакуя – такой вкусной, наверное, показалась ему эта папироса, первая за все время работы. Потом, после очередной затяжки, он негромко проговорил:

– Знаешь, Володя... что-то там не того. Пахнет свинством, жаль только, не знаю – каким. Во-первых, нижний ряд тоже подключен, не только два верхних...

– И все?

– Такое ощущение, что есть там еще какая-то самодеятельность, а не просто табельное средство. Вот, например, проволоку он использовал не ту, да и вообще... хотя все это от интуиции, но ведь марксизм интуиции не отрицает, а? Вроде бы я отключил мину. И все же...

– А кто – он?

– Да не знаю; тот, кто все это минировал. Так я думаю, что не мальчик он был в нашем деле.

– Товарищ майор, может, чем-нибудь помочь? Он вытянул перед собой руки; повернутые вверх ладони застыли, словно вытесанные из камня.

– Чувствуешь?

– Статуя, – одобчительно сказал я.

– Вот. Так чем же ты мне можешь помочь? Нет, Володя, ты мне ничем помочь не можешь...

Он отвернулся и докуривал, по-прежнему не спеша, глядя в сторону, вдаль, сосредоточенно, хмуро. Наверное, пытался понять, с чем еще ему придется там столкнуться.

– Комбинированный взрыватель? – подумал я вслух. Он ответил, не оборачиваясь:

– Ну, это само собой, это, я считаю, как дважды два. Нет, не так просто. Знаешь что – я пока снаряды больше трогать не стану. Попробую-ка подобраться снизу...

Он бросил догоревший окурочок на песок, тщательно втоптал его каблуком и пошел заканчивать. Я снова занял место на другом конце траншеи. Инженер-майор долго приглядывался и принюхивался, решая, видимо, как пробиться к мине-ловушке снизу, и извлечь в первую очередь ее. Наконец, он начал рыть снизу; я видел только его спину с двигавшимися лопатками, и по положению спины угадывал, как уходит он, бережно и осторожно работая руками, все глубже и глубже, как остановился – видимо, дошел до корпуса мины и лежал, совсем не двигаясь – работали только пальцы рук, там, глубоко в песке. Потом он осторожно высвободил руки, повернулся, сел, – до этого он лежал на животе, – глянул в мою сторону, но не сказал ни слова, только махнул рукой. Не знаю, что это должно было означать, может быть: «Спешить некуда, обождите еще», а возможно и другое: «Хреновые дела, Володя». Посидев минуту-другую, он опять лег, медленно ввел руки в прокоп и заработал дальше. Через минуту правая рука его вылезла, пошарила, схватила кусачки и снова скрылась. Я понял: значит, проволоку, что ведет от взрывателя мины к нижним снарядам, он сейчас перекусит, а потом начнет обрабатывать мину снизу. Полдела сделано. Рука с кусачками снова показалась, оставила инструмент и

вернулась на рабочее место. Прошло не знаю сколько времени – вдруг спина его напряглась, лопатки двинулись, и я сообразил, что он уже обработал мину и сейчас извлечет ее. Извившись всем телом, он отодвинулся на несколько сантиметров дальше, отползая по траншее ко мне – наверное, чтобы удобнее было вынимать. Значит, мина снялась с места, на котором много лет подстерегала свои жертвы...

И тут рвануло.

Санаторий не пострадал: снарядов оставалось уже немного, только один ряд. Но сдетонировали они исправно. К счастью, никого из оцепления не задело, меня швырнуло на песок и порядком засыпало, но осколки угодили в стену траншеи – ближайший из них сантиметрах в сорока от меня, может, были и ближе, но кто их там потом искал, Интуиция не подвела инженер-майора: было там что-то, чего он так и не разгадал. В мгновение, когда раздался взрыв, я смотрел на него, и был уверен, что рванула не мина, а что-то другое, чуть дальше и глубже. Значит, ловушка эта была и сама с сюрпризом. Хотя командир второго взвода, например, полагал, что никакого дополнительного сюрприза не было, а просто один из капсулей был в медной оболочке, за годы в него пробралась сырость, и гремучая ртуть капсулей успела превратиться в фульминат меди, вещество еще более чувствительное и капризное. А майор, отползая, может быть, выпустил мину из рук или задел ею о что-то, там ведь был не чистый песок, как на пляже, он был пронизан всякими корешками.

Зачем я вдруг пришел сюда сейчас, сегодня? Посидеть и подумать, как не ошибиться в момент, когда ошибаться нельзя? Или потому, что когда стыдно жаловаться живым, прибегаешь к помощи мертвых? Так или иначе, я пришел. Уже совсем рядом. Вот куст, обойти его, и там сразу.

## IV

На скамеечке у могилы сидела женщина. Я подошел сзади и не видел ее лица, но по вздрагивающим плечам понял, что она плачет. Мне никогда не приходилось видеть у могилы инженер-майора женщин, даже провожали его много лет назад одни только военные или бывшие военные – во всяком случае, мужчины.

Я остановился в нерешительности; но нельзя позволять любой неожиданности задержать тебя более, чем на секунду, а порой и секунды бывает слишком много. Женщина плакала у могилы инженер-майора; ну, и что же? Это не жена; ее мне приходилось встречать, когда она приехала уже после похорон. Дочь или мало ли кто. Все равно – ну, вспомним его вместе, не уходить же, раз уж я пришел сюда.

Я подошел к самой скамейке и кашлянул. Она глянула на меня равнодушно, не пряча лица, не скрывая слез, и тут же опустила голову. Ей наверняка еще не было тридцати. Не знаю, была ли она красива или наоборот: в аллее было темно. К тому же, когда женщина плачет из потребности, а не по тактическим соображениям, она некрасива независимо от того, какова она на самом деле. Но ее глаза, взгляд их, на миг перехваченный мною, поразили меня; даже не глаза, а та глубокая тоска, что стояла в них неподвижно, как талая вода в глинистой воронке от тысячекилограммовой бомбы. Мы не пройдем мимо человека, поскользнувшегося и сломавшего ногу: постараемся помочь ему, самое малое, вызовем «скорую» и дождемся ее, а если человек не может двигаться, подложим под него шинель и оттащим в сторону, постараемся наложить жгут, если перелом открытый. Но тоска в глазах человека, в отличие от сломанной ноги, чаще всего не остановит нас, не заставит задержаться и предложить помощь, хотя причина тоски может быть куда серьезнее перелома, а последствия – тем более. Мы проходим мимо – и, может быть, именно потому, что тут не отделаешься жгутом или звонком, оказать помощь в таких случаях куда сложнее и наверняка потребует гораздо больших сил и умения: тут можно помочь чаще всего словом, а делать это мы как-то разучились. Я и сам не умею; но офицеру, способному пройти мимо плачущей женщины и не попытаться помочь ей, надо срочно менять профессию и наниматься куда-нибудь, где не придется иметь дела с людьми: скажем, отлавливать бездомных собак и кошек, это будет занятие как раз по нему. И я осторожно опустился на край скамеечки, стоявшей там, где инженер-майор принимал теперь друзей. Присутствие постороннего мешает проявлять чувства с полной искренностью; слезы катились по щекам женщины все медленнее, лотом она, словно спохватившись, достала из сумочки платок и долго вытирала глаза. Я ожидал, что после этого появятся пудреница и губная помада, но она защелкнула сумку и чуть повернула голову ко мне.

– Извините, – проговорила она скорее про себя, чем вслух.

Глупо отвечать в таких случаях: «Нет, ничего... пожалуйста», словно в твоей власти разрешать или не разрешать ей плакать. Но и промолчать было нельзя. Я спросил:

– Вы его знали?

– Я? Кого? Ах, да...

– Авраменка.

– Авраменка... – без выражения повторила женщина, потом посмотрела на плитку, светлевшую на откосе могильного холмика, заключенного в стандартную серую каменную раму. – Нет...

– Я подумал...

– Нет. – Она взглянула на меня с сомнением, словно не зная, стоит ли объяснять мне. – Это случайно... Мне все равно, где. Если я мешаю, я пойду, посижу где-нибудь еще. Мне все равно.

В ее глазах, отблескивавших в свете недалекого фонаря, я даже не увидел, а угадал ту же устойчивую тоску. И замкнутость в себе – состояние, когда в мире не существует ничего, кроме тебя самого и твоей боли. Среди людей, фигурирующих в статистике несчастных случаев, немалую долю составляют те, кого боль отгораживает от мира, изолирует от него – но мир не знает этого и не щадит их, когда они неожиданно сходят с тротуара на мостовую, и их не могут спасти уже никакая реакция водителя и никакие тормоза. Таких людей нельзя оставлять одних, как нельзя бросать раненых на поле боя.

– У вас беда?

Она, кажется, даже не услышала.

– Могу я чем-нибудь помочь вам?

На этот раз мои слова, кажется, донеслись до нее. Она серьезно задумалась – как будто для ответа надо было подумать как следует.

– Да. Перенесите меня куда-нибудь.

– Ушибли ногу? Сильно? Куда вас перенести?

– Я хочу в восемнадцатый век, – сказала она серьезно, как говорят о таких желаниях дети, еще не успевшие ощутить границу между реальным и сказочным.

– В восемнадцатый? – переспросил я. – Интересно. А почему именно туда?

Сейчас важно было, чтобы она говорила – безразлично, о чем. Слова облегчают; странное и великое свойство слов. Как будто вместе с ними из тебя уходит вся тяжесть.

– Мне было бы там хорошо.

– Смотря кем вы туда попали бы.

Но это, кажется, ее не волновало: видимо, была у нее уверенность, что там она оказалась бы не ниже определенного уровня, и статус ее был бы достаточно высок.

– Там все сделалось бы так, как надо.

Вряд ли она была не в своем уме; а раз так, значит, просто играла, это неплохой способ вернуть себе равновесие духа. И я решил поддержать игру.

– Я подумаю над этой проблемой. А пока, может быть, вы разрешите проводить вас домой?

Время было достаточно позднее, и вся усталость ненормального минувшего дня стала наконец показывать коготки. Я с удовольствием вспомнил об удобной кровати с откинутым одеялом в гостиничном «полулюксе». Женщина, кажется, стала приходить в себя; пока доберемся до ее дома, она, можно надеяться, окончательно справится с тем, что заставило ее так горько плакать на кладбище, у чужой могилы, в ночной час. Я знал, что реакция женщин далеко не всегда соответствует важности причины и что порой какой-нибудь пустяк может привести чуть ли не к истерике даже относительно сдержанных представительниц прекрасного пола; таким путем просто изливается сразу все, накопившееся за долгое время, а потом они опять приходят в норму, слезы высыхают, возвращается улыбка – и жизнь продолжается.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.